

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

**О.В. БОЛЬШАКОВА**

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
И СОВЕТСКОГО СОЮЗА:  
современные зарубежные исследования**

**Аналитический обзор**

**МОСКВА  
2024**

ББК 63  
УДК 303.446.4. 94(47).072-084  
Б 79

Печатается по решению ученого совета  
ИНИОН РАН

Рецензенты:

*Комзолова А.А.* – старший научный сотрудник ИНИОН РАН, канд. ист. наук  
*Метлицкая З.Ю.* – доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, канд. ист. наук

Ответственный редактор – д-р полит. наук *И.И. Глебова*

Отв. за выпуск – *И.Е. Эман*

Б 79 **Большакова О.В. Экологическая история Российской империи и Советского Союза: современные зарубежные исследования** : аналитический обзор / РАН, ИНИОН, Центр россиеведения ; отв. ред. И.И. Глебова. – Москва : 2024. – 106 с.

**ISBN 978-5-248-01089-9**

Взаимодействие человека и природы в исторической динамике стало объектом пристального внимания зарубежных русистов относительно недавно. В обзоре представлен широкий спектр методологических новаций и подходов, от «экологического империализма» до «антропоцена». Центральной темой является освоение пространств Евразии в течение XIX–XX вв., что включает в себя рассмотрение таких сюжетов, как роль науки в осуществлении этого процесса, развитие лесоводства, создание инфраструктуры, включая строительство железных дорог и каналов в Средней Азии и Европейской России, и многих других.

ББК 63  
УДК 303.446.4. 94(47).072-084

DOI: 10.31249/ecohistory/2024.00.00

ISBN 978-5-248-01089-9

© ИНИОН РАН, 2024

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	4
Изучение экологической истории России / СССР за рубежом .....	11
Дискурс о природе и история науки .....	20
Империя и природа .....	33
Создание советского пространства .....	54
Сталинский план преобразования природы .....	68
Экоистория Арктики .....	82
Заключение .....	98
Список литературы .....	102

## ВВЕДЕНИЕ

В центре внимания настоящего обзора находится достаточно большой массив новой зарубежной литературы, посвященной истории взаимоотношений человека и природы в Российской империи / СССР. Географический охват исследований очевиден, хронологический ограничивается главным образом периодом XIX – первой половины XX в. Однако необходимо определиться с терминологией, т.е. с названием дисциплины, занимающейся этим предметом.

Всякому, кто начинает глубоко погружаться в тему – и, соответственно, знакомиться с зарубежной наукой, бросается в глаза проблема перевода. Принятый в отечественной науке термин «экологическая история» не совсем соответствует своему английскому эквиваленту «environmental history». Его буквальный перевод «история окружающей среды» во многих отношениях кажется исследователям предпочтительнее<sup>1</sup>. Действительно, в английском названии фигурирует окружающая среда, причем в самом широком значении этого слова, в то время как в русском – экология, т.е. наука об окружающей среде, раздел биологии. Таким образом сужается предполагаемое

---

<sup>1</sup> Дурновцев В.И. «Environmental history» как «экологическая история» (историографические заметки) // Вестник Сургутского государственного университета. 2017. – № 6 (51). – С. 10–19. При этом подчеркивается, что определения экологической истории не отличаются строгостью, а для ее проблематики характерно исключительное разнообразие: Дурновцев В.И. Экологическая история в координатах отечественной историографии // Вестник РГГУ. Серия Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2018. – № 4. – С. 9.

поле исследований, и они перенаправляются в область естественных наук либо в сферу охраны природы, с которой в русском языке как раз и ассоциируется слово «экологическая». Собственно говоря, в отечественной науке, где это направление начало развиваться достаточно поздно, и присутствует такое узкое понимание. Предмет исследования, как правило, сводится к истории освоения и охраны природы, в то время как область интересов *environmental history* гораздо шире, и ее границы изменялись с течением времени.

Вместе с тем предметное поле современной отечественной историографии несет в себе совершенно определенные коннотации, отсылая к так называемому инвайронментализму (*environmentalism*) – «зеленому» движению, возникшему в США в 1960-е годы на волне борьбы за гражданские права и свободы, против дискриминации и эксплуатации. На повестке дня стояли тогда такие вопросы, как загрязнение окружающей среды и истощение ресурсов (впрочем, они сохраняют свою актуальность, определяя многие тренды в мировом дискурсе о глобальных проблемах современности). На фоне вполне обоснованных тревог о надвигающемся экологическом кризисе движение инвайронменталистов довольно быстро одержало ощутимые победы: в 1970 г. были приняты значимые природоохранные законы, надолго определившие политику США в этой области.

Именно тогда в США зародились исследования по истории взаимоотношений человека и природы, и страна до сих пор сохраняет свое лидерство в этой области. В 1960–1970-е годы в Соединенных Штатах выходят первые фундаментальные работы, появляются кафедры и учебные программы, позволившие готовить специалистов, в 1974 г. создается Американское общество экологической истории. Несколько позже *environmental history* начинает завоевывать Европу, где имелся солидный фундамент в виде наследия школы Анналов<sup>1</sup>.

Как и многие другие дисциплины, возникшие в этот период («черная история», «женская история» и, конечно же, социальная «история снизу»), *environmental history*, которую называли еще

---

<sup>1</sup> Brüggemeier F.-J. *Environmental history* // *International encyclopedia of the social and behavioral sciences*. – Elsevier, 2001. – P. 4621–4622. Интеллектуальные корни *environmental history* были весьма основательными. Среди историков, помимо Л. Февра и М. Блока, необходимо упомянуть американцев Дж.П. Марша и Ф. Тернера, в России это такие фигуры, как С.М. Соловьев и В.О. Ключевский, В.И. Вернадский и многие другие, в том числе те, кто работал в области исторической географии.

и «зеленой историей», представляла собой политический проект. В ней явственно просматривалась благая цель – «сделать мир лучше» – и звучала резкая критика современного капитализма. Оформи́вшаяся полвека спустя российская экологическая история такой цели не имеет, однако занимается теми же проблемами, которые находились в центре внимания американских коллег в 1970–1980-е годы.

В контексте дебатов об экологическом кризисе исследования в области *environmental history* были сосредоточены на изучении разрушительного воздействия человеческой деятельности на природу в разные исторические периоды, а также на способах противодействия этому. Рассматривались причины такого положения дел, и в условиях господствовавшего тогда сциентизма и одновременного развития контркультуры, призывавшей вернуться «к природе», ответственность возлагалась и на «христианские корни», и на «механистическую науку». Непосредственные причины кризиса относили на счет особенностей «западной», т.е. капиталистической цивилизации с ее индустриализацией, урбанизацией и забвением традиций сосуществования человека и природы, которую капитализм стал рассматривать как объект трансформации и использования.

Большую роль в развитии исследований сыграла концепция «экологического империализма» А. Кросби, высветившая биологический аспект европейской экспансии<sup>1</sup>. Довольно быстро сложился набор основных тропов о разрушительном воздействии колониализма и глобализации на природную среду: быстрый рост населения в колониях; развитие плантационного земледелия; сведение тропических лесов, что вело к эрозии почв; ввоз европейской флоры и фауны, что нарушало экосистему и несло угрозу биоразнообразию; исчезновение видов растений и животных; наконец, привнесение свойственных белому человеку микробов и вирусов, к которым местное население не имело иммунитета (например, от занесенных европейцами и затем африканскими рабами болезней умерли миллионы индейцев – куда больше, чем от военных столкновений). Подчеркивалось, что освоение и заселение других континентов становилось капиталистическим предприятием по изъятию ресурсов, что сопровождалось безудержной эксплуатацией и изменением первоначального ландшафта до неузнаваемости.

---

<sup>1</sup> Crosby A.W. *Ecological imperialism : the biological expansion of Europe, 900–1900.* – New York : Cambridge univ. press, 1986.

Environmental history изначально носила междисциплинарный характер, поскольку историкам приходилось опираться на естественные науки – географию, геологию, почвоведение, химию, биологию, медицину и, конечно же, экологию. В свою очередь, представители таких дисциплин, как география и биология (прежде всего историческая география и эволюционная биология), экология, антропология, социология, политология и экономика, также вносили свой вклад в инвайронменталистские исследования.

Существенную роль в них играла критика бытующих представлений о человеке как «венце творенья», который борется с природой, покоряет ее и трансформирует, из эгоистических побуждений неумолимо ее разрушая. Антагонистические отношения с природой предлагалось заменить на дружественные; изучались разнообразные возможности сохранения, консервации природных систем и возвращения их к состоянию стабильного баланса. В исследованиях господствовал нарратив «упадка и разрушения», демонстрировавший, как происходило уничтожение изначально девственной природы. Ставился вопрос о непоправимости ущерба и об ответственности человека за жизнь на планете, которая может быть уничтожена.

С тех пор многое изменилось. На рубеже тысячелетий началось бурное развитие науки, и произошли серьезные трансформации. Environmental history пережила «культурный», «лингвистический», «антропологический» и другие повороты, которые постепенно охватили все гуманитарные и социальные науки. В инвайронменталистских исследованиях к этому времени оформилось множество новых дисциплин: политическая экология, экология человека, экология города и др. Названия некоторых из них довольно сложно перевести на русский: в частности, большой раздел географии, занимающийся взаимоотношениями человека и окружающей среды, human geography, не нашел пока соответствующего эквивалента, поскольку варианты «гуманитарная география» и «гуманистическая география», как и «география человека», не отражают сущности этой науки. Однако в ряде случаев традиционному названию просто предшествует определение «environmental», и для краткости его можно заменить приставкой «эко-»: экофилософия, экосоциология, экопсихология, эоархеология и др.

Понимая, что термин «экологическая история» утвердился в отечественной науке в качестве общепринятого, в данном обзоре, по аналогии с вышеперечисленными примерами, мы будем использовать термин «экоистория» как обозначение зарубежной науки,

имеющей иную дисциплинарную номенклатуру и куда более широкое, как будет показано далее, исследовательское поле.

Все названные и многие не упомянутые здесь дисциплины обращаются к прошлому, исследуя поставленные вопросы в континууме и опираясь на исторический подход. Таким образом, экоистория стала своего рода «зонтиком» для самых разнообразных наук, изучающих взаимоотношения человека и природы, и предложила им свои категории для анализа (класс, раса, этничность, гендер, потребление, коммодификация и др.), а также методы, присущие гуманитаристике. История привнесла в смежные дисциплины пристальное внимание к изменениям, к причинности и случайности, но главное – к историческому контексту [Isenberg, 2014, p. 10–11]. Однако и другие науки, активно развивавшиеся с конца 1990-х годов, дали многое экоистории.

Экологи, в частности, подвергли пересмотру телеологическую концепцию последовательной смены биологических сообществ. Обнаруживая предрасположенность окружающей среды к изменениям, часто непредсказуемым, они заговорили о нелинейной динамике. Экоисторики с легкостью восприняли новую концепцию динамичных экосистем, столь созвучную историческому пониманию действительности [Isenberg, 2014, p. 11]. Теория микробиома серьезно изменила понимание «человеческого», показав, что люди физически и эмоционально формируются посредством межвидовых взаимодействий. Благодаря данным эпигенетики, эволюционной биологии, эпидемиологии, геологии и сейсмологии, климатологии и других естественных наук экоистория получила в свое распоряжение новые виды исторических источников [Breyfogle, 2018, p. 17].

Такое «перекрестное опыление» существенно обогащает всех его участников. В новом тысячелетии экоистория стала дисциплиной, соединившей в себе естественно-научное и гуманитарное знание, и одновременно наглядным подтверждением наблюдений о том, что прежняя междисциплинарность утратила свое значение. На смену ей пришла мультидисциплинарность, которая подразумевает, что в одном исследовании используются методы и подходы разных наук; дисциплинарная принадлежность отходит на второй план. Большое значение имеют парадигмы, на основе которых анализируются те или иные сюжеты. В первую очередь это культурно-историческая, с ее интересом к тому, что люди думали о природе, как ее изучали и как на основе этих представлений строили свою идентичность, а также постколониальная, вобравшая в себя критические импульсы 1960-х, однако обогатившая их современными представлениями.

Раса, класс и гендер – три столпа зарубежной историографии, давно составлявшие проблемный стержень исторических исследований, дополнены в экоиории новой категорией «nonhuman», «more-than-human», включающей в себя все, что не является человеческим («больше, чем человеческое»). Исходя из того, что природа и социум неразрывно связаны, взаимно переплетены, исследователи рассматривают не только очевидное – живые организмы, от домашних животных до вирусов, – но и представителей двух других линнеевских царств природы, растительного и минерального (а также продукты химического синтеза), атмосферу и гидросреду, наконец, «неодушевленные» вещи, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и даже такие абстрактные, как технологии.

В центре внимания экоиории – освоение новых территорий и их ресурсов, изучаемое в контексте истории империй с их «цивилизаторской миссией», что предполагает рассмотрение истории естественных наук, активно развивавшихся в XVIII–XIX вв. Для более позднего времени релевантно применение концепта общества потребления, в особенности когда речь идет о планировке городов, создании рекреационных зон и утилизации отходов жизнедеятельности человека. По-прежнему актуальны исследования аграрной тематики, включающие в себя изучение таких сюжетов, как неурожай и голод, история наук о земледелии, развитие агротехники, строительство ирригационных систем, изменение ландшафта и государственная политика в этой сфере. На стыке экологии, истории медицины, эпидемиологии и др. наук исследуется проблема человеческого здоровья. Изучаются природные и антропогенные катастрофы. Тематическое богатство экоиории почти невозможно охватить, поскольку оно сопоставимо с разнообразием обществ и групп, существовавших в разные времена в разных районах земного шара. Однако нетрудно заметить те концептуальные изменения, которые произошли в ней за последние 15 лет.

Основополагающим для сегодняшней экоиории является представление, что человеческий опыт может быть понят только в более широком контексте, во взаимосвязи с другими организмами, с климатом и погодой, почвой и горными системами, озерами и реками, вулканами и землетрясениями. В отличие от предшествующей историографии, рассматривавшей окружающую среду как статическую данность, как сцену, на которой разворачивается история человечества, или как своего рода детерминанту, определяющую развитие того или иного государства, преобладает идея о

непрерывном движении в системе взаимных трансформаций и влияний [Breyfogle, 2018, p. 7].

На смену детерминистскому нарративу о разграблении природы человеком приходит более сложное, нюансированное повествование о взаимной адаптации. В сущности, в экоиории заметна черта, характерная в целом для мировой историографии, отошедшей от модернистских концептов «конфронтации и сопротивления» и выдвинувшей на первый план «взаимодействие», т.е. адаптацию, компромисс, диалог.

В то же время периодизация в экоиории построена на основе традиционных антропоцентристских представлений о роли человека в трансформации окружающей среды. В 2010-е годы приобрела популярность концепция антропоцена, выделившая эпоху в истории земли, когда уровень воздействия человеческой деятельности на экосистемы планеты стал заметным, – как считают, даже с начала неолита. Таким образом были существенно раздвинуты хронологические границы экоиории с одновременным включением в нее таких дисциплин, как геология, климатология и др. («большая история»). Поворотными моментами в периодизации являются не политические события, а более фундаментальные процессы: неолитический переход к оседлому земледелию, малый ледниковый период второго тысячелетия н. э., промышленная революция XIX в., «великое ускорение» – быстрый рост производства и потребления после 1945 г., сопровождаемый ростом численности населения, наступление ядерной эпохи [Breyfogle, 2018, p. 15].

Экоиории имманентен транснациональный подход, который в ряде случаев, как отмечается, – не роскошь, а необходимость. Так, изучение истории климата побуждает выходить за пределы государственных границ. Чтобы понять, например, корреляцию между неурожаями и погодой в Англии начала XVII в., нужно обратиться к извержениям вулкана в Перу и использовать данные, полученные в Гренландии, Антарктике, Гималаях и Альпах [Carey, 2014, p. 27]. Таким образом географический охват исследований расширен до глобального, с одновременным глубоким вниманием к локальному.

Помимо традиционной работы в архивах и библиотеках экоиористики активно занимаются и полевой работой. Увидеть своими глазами изучаемую местность, пообщаться с живущими там людьми, взглянуть на окружающее их глазами – это своего рода кредо современного экоиористика, работающего во взаимодействии с экологами, геологами, биологами и другими специалистами [Breyfogle, 2018, p. 17].

## ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ / СССР ЗА РУБЕЖОМ

На сегодняшний день экоистория составляет существенную часть современной зарубежной историографии, статистически примерно одну седьмую<sup>1</sup>. Та же пропорция наблюдается и в зарубежной русистике, хотя ее проблематика и не отличается тем богатством и разнообразием, которое характерно для мировой историографии в целом. Интерес к экоистории там долгое время практически отсутствовал. По подсчетам Жужи Джилл, за 67 лет существования журнала «Славянское обозрение» в нем были опубликованы всего три статьи, имеющие какое-то отношение к природе или к проблемам ее охраны, и только в 2009 г. удалось подготовить тематический номер «Природа, культура и власть» [Gille, 2009, p. 1]. В него вошли несколько статей, посвященных главным образом вопросам охраны природы на территории бывшего СССР и стран Восточной Европы. Форум обозначил начало фактически «взрывного» развития экоистории в дисциплине, называемой Russian and East European studies (российские и восточноевропейские исследования).

Нельзя сказать, что исследователи начинали с чистого листа: к этому времени вышли монографии Д. Винера «Модели природы» и «Маленький уголок свободы», посвященные истории природоох-

---

<sup>1</sup> Большакова О.В. Человек и природа в истории: современные зарубежные исследования. Комментарий к библиографии // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. – Москва : ИНИОН РАН, 2023. – № 3. – С. 208.

ранного движения в СССР, и другие работы<sup>1</sup>. Британские географы Д. Шоу и Дж. Пэллот исследовали модели поселений и колонизации в разных регионах Российской империи<sup>2</sup>. Уделялось внимание культурным репрезентациям природы и географии России в ее связи с русской идентичностью, представленным в работах как литературоведов, так и географов<sup>3</sup>. Джон Маккеннон рассмотрел историю советских полярных экспедиций, а также возникновение мифа о Севере в массовой культуре эпохи сталинизма<sup>4</sup>. После чернойбыльской катастрофы, благодаря политике гласности, открывшей прежде засекреченные данные о состоянии окружающей среды в Советском Союзе, появилось какое-то количество работ о политике «экоцида» в СССР<sup>5</sup>. Собственно говоря, это и были основные темы, с которых стартовала экоистория России / СССР.

В начале 2000-х годов готовились первые диссертации, превратившиеся затем в серьезные монографии, прорывные для русистики, прежде сосредоточенной на социальных и политических исследованиях. Тем не менее и в них традиционно большое внимание уделялось государству и его политике, в отношении как «завоевания природы», так и ее охраны, и не потерял свою влияние нарратив «упадка и разрушения» с акцентом на деградации природной среды в СССР. Другое дело, что утверждения об «экоциде», который относили на счет brutальной политики большевиков, стали сменяться сравнениями с аналогичными явлениями в капиталисти-

---

<sup>1</sup> Weiner D. Models of nature: Ecology, conservation, and cultural revolution in Soviet Russia. – Bloomington : Indiana univ. press, 1988; Weiner D. A little corner of freedom: Russian nature protection from Stalin to Gorbachev. – Berkeley : Univ. of California press, 1999; Bonhomme B. Forests, peasants, and revolutionaries: Forest conservation and organization in Soviet Russia, 1917–1929. – Boulder, CO : East European Monographs, 2005.

<sup>2</sup> Pallot J., Shaw D.J.B. Landscape and settlement in Romanov Russia, 1613–1917. – New York : Oxford univ. press, 1990.

<sup>3</sup> Bassin M. Imperial visions: Nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East, 1840–1865. – Cambridge : Cambridge univ. press, 1999; Ely Chr. This meager nature: Landscape and national identity in imperial Russia. – DeKalb, Ill : Northern Illinois univ. press, 2002; Understanding Russian nature: Representations, values, and concepts / Ed. by Rosenholm A., Autio-Sarasma S. – Helsinki : Kikumora Publications, 2005.

<sup>4</sup> McCannon J. Red Arctic: Polar exploration and the myth of the North in the Soviet Union, 1932–1939. – Oxford : Oxford univ. press, 1998.

<sup>5</sup> См., в частности: Feshbach M., Friendly A., jr. Ecocide in the USSR: Health and nature under siege. – New York : Basic Books, 1992.

ческих странах, и прежде всего в США. Однако авторы исходили из уникальности и исключительности советского опыта (мнение, унаследованное от эпохи холодной войны), и вопрос решался в плоскости, «лучше» или «хуже» был Советский Союз, чем западные демократии, когда речь шла о состоянии окружающей среды, – хотя оценки постепенно смягчались<sup>1</sup>.

К настоящему времени зарубежные исследователи перестали считать СССР примером жесточайшей и широкомасштабной эксплуатации природных ресурсов, обнаруживая противоположные тенденции бережного отношения к природе и более того – традицию глубокого ее изучения русскими учеными, далеко продвинувшими естественно-научное знание [Oldfield, Lajus, Shaw, 2015, p. 1].

Несомненно, свою роль в данном случае сыграло активизированное сотрудничество с российскими коллегами: участие в конференциях и проектах, подготовка совместных публикаций. Так, международная конференция прошла в 2014 г. в Елабуге под эгидой Казанского университета, и ее итогом явился содержательный сборник<sup>2</sup>. По итогам форума 2013 г. в Европейском университете в Санкт-Петербурге вышел тематический номер журнала *Slavonic and East European Review* (Славянское и восточноевропейское обозрение). Совсем недавно было опубликовано несколько совместных сборников<sup>3</sup>. Их содержание свидетельствует о том, что хорошо развитые исследования по истории науки в нашей стране, а также свойственное отечественной академической среде углубленное внимание к локальным особенностям оказывают определенное влияние на зарубежную русистику.

В то же время современные тенденции в мировой историографии побуждают зарубежных историков-инвайронменталистов, специализирующихся на изучении России / СССР, обращаться к

---

<sup>1</sup> См., напр.: *An environmental history of Russia* / Josephson P., Dronin N., Mnatsakanian R., Cherp A., Efremento D., Larin V. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2013.

<sup>2</sup> Экологическая история России: этапы становления и перспективные направления исследований : материалы международной научной конференции (г. Елабуга, 13–15 ноября 2014 г.). – Елабуга : Яковлева Н. А., 2014.

<sup>3</sup> *Place and nature : essays in Russian environmental history* / Ed. by Moon D., Breyfogle N.B., Bekasova A. – Cambridgeshire : White Horse Press, 2021; *The Russian cold: Histories of ice, frost, and snow* / Ed. by Herzberg J., Renner A., Schierle I. – 2021; *Thinking Russia's history environmentally* / Ed. by Evtuhov C., Lajus J., Moon D. – Berghahn Books, 2023.

глобальному контексту. Все в большей мере используется транснациональный подход, расширяются проблематика и география исследований.

Следует отметить тот восторг, который вызывает у зарубежных историков исключительное разнообразие Евразии в географическом, климатическом и экологическом отношении. Одна шестая часть суши включает в себя несколько природных зон и такие биомы, как полярная пустыня, тундра, бореальные леса зоны тайги, широколиственные леса умеренной зоны, лесостепь, безводная степь, пустыня и полупустыня. В этих зонах обитают многочисленные представители флоры и фауны, среди них сотни эндемичных видов. По территории Евразии протекают пять из 17 самых длинных рек мира, имеется самое глубокое и самое древнее на планете озеро Байкал. Омывающие ее моря и два океана, Северный Ледовитый и Тихий, оказывают влияние не только на побережье, но и на глобальную погоду. Уникальный материал для глобальной экоистории предоставляют большие территории с низкотемпературным климатом. В геологическом отношении также наблюдается большое разнообразие: огромные площади вечной мерзлоты, горы Кавказа, Урала, Алтая и вулканы Камчатки [Breyfogle, 2018, p. 9].

Стратегическая оценка природных ресурсов России и стран постсоветского пространства остается в центре политических дебатов, так что ресурсы являются важной темой для исследований истории Советского Союза. Подчеркивается, что геополитические отношения между бывшими советскими республиками во многом определяются такими факторами, как борьба за использование ресурсов и за сокращение вредных выбросов. В середине 2010-х годов усилилась конкуренция между Таджикистаном и Узбекистаном за воду, как техническую – для электростанций и орошения, – так и питьевую. «Неутолимая тяга» Китая к природным ресурсам РФ – лесу, воде, минералам, мехам, нефти и газу – лежит в основе отношений двух стран. Одним из аспектов отношений между Россией и Украиной были поставки энергоресурсов и их транзит. Дипломатическая борьба с Канадой, США, Данией и Норвегией разворачивается в сегодняшней «гонке за Арктику» – за контроль над богатейшим в природном отношении регионом [Breyfogle, 2018, p. 10].

Учитывая значение природных ресурсов для экономического развития России и стран Средней Азии и Казахстана, важно знать исторические модели эксплуатации окружающей среды в этом регионе. Экоистория Евразии позволяет теоретически осмыслить связи между экономическим развитием, эксплуатацией ресурсов,

деградацией окружающей среды и проблемами управления. Интеграция в XVIII–XX вв. под контролем одного государства обширных территорий, населенных народами, крайне разнообразными в плане религии, культуры и языка, образа жизни, форм семьи, практик экономической деятельности и социальных моделей, создала эколого-политико-экономическую зону, в которой потребности одних регионов трансформировали экологию других [Breyfogle, 2018, p. 10].

Будучи одной из крупнейших империй XIX–XX вв., Россия дает богатый материал для изучения экологических аспектов империализма, включая историю колонизации, «агроэкологическую» историю крестьянской по преимуществу страны, развитие науки в контексте освоения отдаленных территорий, наконец, связи между империостроительством и распространением заболеваний, и не только среди коренных народов. Мультиконфессиональный характер империи позволяет увидеть, как разные религии понимали и объясняли отношения человека и природы, каковы были взаимоотношения между научным и традиционным (локальным) знанием [Breyfogle, 2018, p. 13–14].

В центре внимания историков-инвайронменталистов – такие проблемы, как история знания о природе, литература и национальная идентичность, история катастроф – как природных, так и техногенных, а также неурожаев и голода. В то же время не остаются без внимания и проблемы власти, поскольку, как сформулировал Д. Блэкборн, «господство человека над природой многое может рассказать нам о природе человеческого господства»<sup>1</sup>. Поэтому практики имперского и советского государств по управлению и контролю над территориями изучаются достаточно глубоко, при этом с акцентом на тех ограничениях, которые окружающая среда налагает на усилия человека по ее трансформации.

СССР предложил альтернативную капитализму модель развития, однако все более подробное изучение экологии XX в. обнаруживает глубокую преемственность между царским и советским режимами. Задача преодоления «разрыва 1917 года» и, соответственно, водораздела между двумя дисциплинами *Russian imperial history* и *Soviet history*, давно стоит перед зарубежной русистикой. В исследованиях истории

---

<sup>1</sup> Blackbourn D. The conquest of nature: Water, landscape, and the making of modern Germany. – New York : W.W. Norton, 2006. – P. 7.

науки разрыв преодолевается совершенно безболезненно, поскольку многие идеи, реализовавшиеся в советский период, зарождались задолго до революции, трансформируясь в соответствии с велениями времени и политическими реалиями. То же самое относится и к экоистории, с ее вниманием к истории идей и к людям, которые продолжали работать и после исторических катаклизмов 1914–1921 гг. Но главное, что окружающая среда как предмет исследования мало восприимчива к хронологии политической истории. «Разрывы», происходившие в политической сфере, играли не столь серьезную роль. Как отмечается, Октябрьская революция и сталинская «революция сверху» выступают в инвайронменталистских исследованиях не столько моментами фундаментальных изменений, сколько периодами «перенастройки», «корректировки моделей человеческого поведения в евразийском экологическом контексте» [Breyfogle, 2018, p. 8].

Закономерен интерес зарубежных русистов к истории советской индустриализации и «великих трансформаций» – масштабных проектов социалистического государства по преобразованию природы, оказывавших влияние не только на экосреду, но и на человека. В их работах уделяется внимание промышленному освоению территорий, строительству инфраструктуры и объектов энергетики, ирригационных систем в засушливых регионах и городов в условиях высоких широт.

Стремление лишить царскую и Советскую Россию исключительности («de-exceptionalize»), показав ее встроенность в мировой исторический процесс, давно просматривается в зарубежной русистике, реализовалось оно и в современных работах по экоистории. Сравнения меняют свой характер: исследователи обнаруживают сходство российских моделей, процессов и практик с теми, которые в тот же период времени существовали в других странах. В работе Кейт Браун представлена параллельная история двух ядерных комплексов – в американском Ричланде и советском Озёрске, – строившихся по одной модели и нанесших сопоставимый вред окружающей среде, намного превышающий вред от чернобыльской катастрофы. Связующей нитью для авторских сравнений двух закрытых городов, где производили плутоний, выступает концепция общества потребления, в равной степени приложимая, как выясняется, и к США, и к СССР [Brown, 2013]<sup>1</sup>. Выходят и другие рабо-

---

<sup>1</sup> См. реферат в сб.: Наука в СССР: Современная зарубежная историография. – Москва : ИНИОН РАН, 2014. – С. 133–144.

ты, вписывающие Россию в общий нарратив условно «западной» истории, в частности в эпоху Великих географических открытий, начинающуюся с путешествия Колумба и называемую «эпохой экспансии». Б. Бономм показал участие России в этом процессе (включавшем в себя не только завоевания и колонизацию, но и исследования неизвестных территорий) начиная с 1580 г. и заканчивая полетами в космос [Bonhomme, 2012].

Происходят изменения и в географическом отношении. Несмотря на то что принятая в американских университетах модель региональных исследований разделяет мир на «геополитическо-культурные» блоки, инвайронменталисты преодолевают такие ограничения [Breyfogle, 2018, p. 16]. Исследователи практикуют транснациональный подход – как известно, национальные и административные границы редко совпадают с географическими, в то время как находящиеся в фокусе их внимания природные и климатические зоны носят планетарный характер.

Как результат, инвайронменталистские исследования русистов имеют большое значение не только для понимания истории Российской империи и СССР, но и для всей дисциплины в целом. Новое поколение историков-инвайронменталистов сумело вписать свои работы в глобальные дискуссии о природе и месте в ней человека [Dills, 2013, p. 41]. Так, исследования ирригации засушливых территорий в царское и советское время вносят весомый вклад в дебаты о «гидравлических обществах» [Readings in water history..., 2021; Hydraulic societies..., 2023]. В то же время опыт Евразии имеет и практическое значение для других стран, поскольку знание региональных и локальных особенностей в их историческом развертывании позволяет лучше понять те или иные явления. В частности, советские практики консервации и охраны природы (задуманные до революции и реализовавшиеся в виде создания системы заповедников, в отличие от национальных парков в США) обогащают историю мирового природоохранного движения [Roe, 2020; Breyfogle, 2018, p. 14].

Рассмотренные в настоящем обзоре работы написаны представителями разных дисциплин, от экологического литературоведения (ecocriticism) до исследований науки и технологий (science & technology studies – STS). Объединяет их интерес к истории России, главным образом к периоду модерности (современности), начавшемуся после Великой французской революции. Многие (но далеко не все) авторы опираются на концепцию высокого модернизма (high modernism) как отдельной эпохи со своей системой взглядов, выдвинутую известным

антропологом Джеймсом К. Скоттом. Он указал, что самой заметной чертой идеологии, получившей развитие в конце XIX – начале XX в. и реализовавшейся впоследствии в ряде крупнейших инженерно-архитектурных проектов, являлась в высшей степени оптимистическая вера в научно-технический прогресс. Принципиальное значение имели тезисы о неограниченном расширении производства для удовлетворения человеческих нужд, о достижении господства над природой (включая природу самого человека) и о рациональной организации как социального устройства, так и окружающего пространства. Центральное место в идеологии высокого модернизма, не знавшей политических границ и предпочтений, занимало государство, которое виделось единственной силой, способной реализовать утопические планы по переустройству действительности<sup>1</sup>.

Структура обзора организована таким образом, чтобы осветить основные проблемы экоистории, интересующие зарубежную русистику, и одновременно выстроить достаточно связный нарратив, для чего использован хронологический подход. Анализ ограничивается рамками одного столетия, с середины XIX до середины XX в. Далее наступает совсем иная эпоха, характеризующаяся развитием в СССР природоохранного движения на фоне экологических катастроф, что требует отдельного рассмотрения.

В обзоре в историческом ключе анализируется публичный дискурс о природе, циркулировавший в XIX–XX вв. и вписанный в историю развития естественных наук. Показано, что строительство империи как процесс освоения территорий продолжалось и в годы первых пятилеток, когда шло создание нового «советского» ландшафта. Как пример грандиозного социалистического проекта, имеющего при этом глобальное измерение, представлен сталинский план преобразования природы 1948–1953 гг. Последний раздел выходит за хронологические рамки обзора и посвящен изучению отдельного региона – Арктики, что позволяет дать представление как о широте проблемного спектра, так и об общей траектории развития инвайронменталистских исследований.

---

<sup>1</sup> Scott J.C. Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed. – New Haven, Conn. : Yale univ. press, 1998. – P. 4–5. Рус. пер.: Скотт Дж. Благими намерениями государства : почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. Турчаниновой. – Москва : Университетская книга, 2005.

За рамками обзора осталась крайне важная для экоистории тема, связанная с охраной здоровья. В зарубежной русистике имеется довольно большой корпус литературы, посвященной эпидемиям, история которых исследуется как в политическом, так и в антропологическом ключе [Lynteris, 2016; Robarts, 2017; Davis, 2018 и др.]. Большой интерес представляет история курортолечения в его связи с климатом – в Крыму и на черноморском побережье Кавказа, в степях Причерноморья и Поволжья [Conterio, 2019; Lywood, 2018; Peterson, 2022]. Эти сюжеты, неотделимые от истории медицины в Российской империи и СССР, могут стать предметом отдельного историографического исследования.

Для рассмотрения были отобраны монографии, опубликованные на английском языке начиная с 2010-х годов. Их авторы, однако, живут и работают в разных странах, и английский используется в данном случае как язык межнаучного общения. Немецко- и франкоязычные работы стоят несколько особняком и в том, что касается интерпретаций (часто весьма негативных), и в концептуальном отношении. В конечном итоге в обзоре представлен «американский взгляд» на историю России / СССР, основанный на многолетних традициях как зарубежной русистики, так и созданной в 1970-е годы в США экоистории.

Авторы рассмотренных работ, как правило, неоднократно и подолгу бывали в России и в бывших советских республиках, занимались в архивах, ездили по исследуемым ими регионам, взаимодействовали с учеными и практиками, агрономами и мелиораторами, сейсмологами и геофизиками, этнографами и антропологами, да и сами беседовали с местными жителями<sup>1</sup>. Собранный ими материал не только интересен сам по себе, но и вносит коррективы в историографические стереотипы, показывая роль окружающей среды в процессах индустриализации и модернизации.

Труды зарубежных русистов по экоистории отличают глубокий интерес и даже, как выразился один из рецензентов, «эмпатия» к предмету изучения, стремление «познать неведомое» и позиция «уважительного понимания»<sup>2</sup>. А благодаря литературному стилю изложения, часто по-настоящему яркому, они читаются как захватывающее приключение.

---

<sup>1</sup> Целый раздел в сборнике «Place and nature : essays in Russian environmental history» посвящен весьма содержательным фоторепортажам, среди их авторов – такие известные историки, как Николас Брейфогл, Кэтрин Евтухов и Дэвид Мун.

<sup>2</sup> Ely Chr. Rec. ad op.: Jane Costlow. Heart-pine Russia : Walking and writing the nineteenth-century forest // Cahiers du monde russe. – 2014. – Vol. 55, N 3/4. – P. 382–384.

## ДИСКУРС О ПРИРОДЕ И ИСТОРИЯ НАУКИ

Представления об окружающем мире, изменяющиеся во времени, играют определяющую роль в человеческой деятельности. Оформленные в виде дискурсов – публичного, политического, научного, литературного, – они оказывают влияние как на действия людей, так и на политические программы. Трудно сказать, что является первичным: ученые ставят вопросы и формулируют свои интерпретации под влиянием «запросов времени», а писатели черпают из современной им науки идеи и представления, вплетают их в ткань своих произведений, предлагая метафорические формулы, которые входят в обыденное сознание. В любом случае и наука, и беллетристика, и изобразительное искусство являются зеркалом, в котором отражается их время, и эти отражения начинают жить своей жизнью, растворяясь почти бесследно или, напротив, многократно повторяясь, искажаясь либо превращаясь в штампы и расхожие мнения, которые живут в веках и включаются в новые дискурсы.

Для экоистории дискурс о природе, то есть набор определенных представлений, словесных формул, клише и мифологических стереотипов, формирующих связную конструкцию, которая описывает «природу» и ее взаимоотношения с человеком общепринятым образом, имеет основополагающее значение. Он составляет важную часть исторического контекста, изучением которого эта дисциплина, собственно, и занимается. В центре ее внимания находится знание об окружающем мире, что включает в себя интерес как к развитию науки, так и к «традиционному» знанию о природе и чело-

веке, вырабатывавшемуся веками разными народами и культурами. Литература, как своего рода компендиум обыденных представлений о природе, формировавший мировоззрение целых поколений, также является важным источником и предметом исследований [Breufohle, 2018, p. 21].

В зарубежной историографии традиционно принято подчеркивать чрезвычайную агрессивность, даже милитаризованность советского дискурса о «завоевании природы», лежавшего в основе политики индустриализации. В то же время исследователи фиксируют наличие другого, более умеренного дискурса, который основывается на целостном (холистическом) взгляде на природу и предполагает бережное к ней отношение. Отмечается, что в разные исторические периоды наблюдалось преобладание одного из них. При чтении трудов зарубежных русистов можно обнаружить совершенно определенную динамику и преемственность в тех представлениях о природе, которые циркулировали в Российской империи и в СССР в XIX–XX вв.

С этой точки зрения представляет интерес книга литературоведа М. Эрли «На русской почве», в которой прослеживается генеалогия русских и советских мифов о нации и природе, основанных на концепте «почвы» [Erley, 2021]. Пытаясь извлечь «русскую почву» из-под многовековых смысловых наслоений, автор выбирает для рассмотрения не самые хрестоматийные примеры. В шести главах с соответствующими названиями она анализирует символическую жизнь почвы в разных ипостасях – таких, как родная земля, материя, грязь, осадочная порода, пустырь, целина. Исследование выстроено хронологически, демонстрируя, как дискурсивные и символические ресурсы аккумулировались в культуре с течением времени, начиная с отмены крепостного права, когда в центре внимания находилась почва как источник русской идентичности, и заканчивая поздним социализмом, с его концепцией дружбы народов.

Автор исследует русскую почву как одновременно природный и культурный объект, до предела насыщенный мифологией и символизмом. Почва, пишет Эрли, представляет собой материальную основу цивилизаций, она воплощает в себе самые давние и близкие отношения человека с природой, от рождения до смерти, начиная с библейского мифа о человеке, сотворенном из «праха земного» [Erley, 2021, p. 2]. Используя исторический подход к мифу, она сосредоточивается на периоде модерности (современности), времени головокружительных изменений: империалистической экспансии и нацистского строительства; реформ, войн и революций; стремительной

урбанизации и масштабных людских миграций; разрушения традиционного аграрного уклада в ходе советской коллективизации. Для мировоззрения эпохи модерности характерно обостренное внимание к прогрессу, когда наряду с глубокими сомнениями и даже страхами относительно будущего цивилизации присутствовала боязнь отстать от более развитых соседей.

Точно так же и в России в течение XIX в. ощущение «небезопасности», как пишет автор, в связи с медленным развитием страны часто принимало компенсаторную форму в виде завышенной оценки традиционной русской жизни, которую олицетворял крестьянин-землепашец. В дискурсе о нации, создававшемся славянофилами, а затем почвенниками, фетишизировались деревенская жизнь и традиции, а идеализированный крестьянин выступал хранителем «подлинной» русской идентичности. Происхождение славянофильского дискурса автор усматривает в германской философской традиции конца XVIII – начала XIX в., прежде всего в трудах Гердера, которого Белинский называл «пророком». Выработанный им ботанический образ наций как цветков в мировом саду – больше, чем эпитет: он говорит о нации как о живом организме, сформированном уникальной природной средой, и прежде всего почвой, в которой он «коренится». Эту потенциально богатую аналогию кто-то использовал как источник соответствующих метафор, но для многих органицизм стал инструментом для понимания онтологии нации и хода ее развития [Erley, 2021, p. 13–16].

В русском дискурсе возникает целый ряд соответствующих тропов, в том числе о неплодородности русской почвы, о чем писали и Чаадаев, и Бердяев, оперируя также бинарной оппозицией «почва / беспочвенность» и используя в отношении нации негативное определение «лишенная корней». Общим местом становится идея о том, что национальная почва была удобрена и возделана предками, и это подразумевало некий жертвенный долг перед будущим, необходимость обогатить землю, чтобы нация могла цвести и плодоносить.

Появляется клише культурного обмена как «трансплантации», происхождение которого можно проследить до вольтеровской «Истории Петра Великого» (1763) с его образом Петра-садовника, пересадившего на русскую почву чужеземные науки, искусства и ремесла. Набор органических тропов, ведущих свое происхождение из эпохи Просвещения, особенно большое значение имел для писателей-почвенников конца XIX в., размышлявших об уникальном «органическом» развитии России [Erley, 2021, p. 19].

Для «шестидесятников», прежде всего в лице Чернышевского, Добролюбова, Писарева, почва стала символом не национального характера, а материалистического мировоззрения. В 1860-е годы земельный вопрос занял центральное место в публичном дискурсе. Это было время повального увлечения трудами немецкого химика Либиха, уже воспитавшего первое поколение своих русских студентов. В 1860–1863 гг. вышло девять русских переводов его работ, автор воспринимался как «икона радикализма» и научного материализма, он «выступал в качестве символического объекта столкновения между двумя идеологическими лагерями и интеллектуальными поколениями», что отразилось в полемике по поводу «Отцов и детей» между Тургеневым и Чернышевским (который прямо отобразил теорию немецкого ученого в одном из снов Веры Павловны) [Erley, 2021, p. 33–34].

В то время как в Европе Либиха уже критиковали молодые позитивисты за излишнюю «литературность» и «витализм», в России, задержавшейся в своем развитии за годы правления Николая I, труды немецкого химика считались последним словом науки. Согласно его теории метаболизма минералы, входящие в состав почвы, растений и живых организмов, находятся в состоянии постоянного обмена, и почва, в которую возвращаются органические остатки, представляет собой главного посредника в поддержании жизни. Постулаты Либиха побуждали к размышлениям о социальных вопросах. Была поставлена проблема противостояния города и деревни, которую «метаболически» обкрадывают, забирая у нее рожь и пшеницу. Обкрадывают, как отмечал в «Письмах из деревни» Энгельгардт, и Россию, которая все в больших масштабах экспортировала зерно на Запад, что нарушало «метаболизм» и вело к истощению «русской почвы» [Erley, 2021, p. 45].

По словам Эрли, «возникновение русской науки почвоведения имело прямое отношение к превращению почвы Российской империи в глобальный товар» [Erley, 2021, p. 47]. Рост рынка зерна дал импульс к пониманию особых характеристик русских региональных видов почв, когда «русский чернозем» вошел в мировую экономику. Так называлась первая серьезная работа В.В. Докучаева, опубликованная в 1883 г. и превратившая чернозем в предмет национальной гордости и объект международного интереса. Докучаев показал, что почва является уникальным органическим образованием, формирующимся при строго определенных климатических, топографических и биологических условиях. Он подчеркивал исключительность русской почвы, которая представляет собой

природное богатство России. Указывал он также, что при таких уникальных свойствах «нашей почвы» должно быть стыдно полагаться на немецкую агрономию: требуется особый русский подход к науке о почве, чтобы охватить всю сложность этого объекта. Его Докучаев реализовал в своих работах, используя также методы, которые сейчас назвали бы устной историей, этнографическим описанием, включающим в себя сведения о местных мифах и практиках обработки земли [Erley, 2021, p. 31–32].

Деятельности Докучаева (1846–1903), которого считают основоположником школы научного почвоведения и географии почв, уделяется большое внимание в зарубежной русистике. Прослеживается его не совсем обычная биография как ученого, поскольку он не проходил стажировок за границей, почти не знал иностранных языков и в чем-то был самоучкой, самостоятельно прокладывая свой путь в науке [Moon, 2013, p. 53]. Его знаменитый «Русский чернозем» был написан по итогам экспедиций 1877–1878 и 1881 гг. под эгидой Вольного Экономического общества, затем последовали другие, результатом которых всегда являлись новые труды. Докучаев обладал также талантами педагога и организатора. Довольно быстро родилась «школа Докучаева», благодаря которой русская наука почвоведения достигла впечатляющих успехов. Сформулированная Докучаевым на основе анализа множества образцов теория образования почв позволила классифицировать их и создать типологию, пригодную для использования во всем мире [Moon, 2013, p. 15].

Вклад зарубежной русистики в изучение сюжетов, связанных с деятельностью Докучаева, заключается прежде всего в рассмотрении проблемы трансфера знаний, вектор которого традиционно считали направленным с запада на восток. Тем не менее не так давно появились работы, в которых демонстрируется движение в обратном направлении, и самым ярким примером считается почвоведение. Как пишет Йан Аренд, в 1934 г. немецкий почвовед Рихард Ланг призывал избавиться от русских терминов, заполонивших немецкую науку, – таких, как «чернозем», «подзол» и др. Впрочем, та же ситуация наблюдалась и в англоязычном почвоведении [Arend, 2017, p. 683–684]. Одна из монографий британского историка Д. Муна целиком посвящена восприятию русской науки почвоведения в Америке в 1870–1930-е годы, в том числе заимствованию разработанных Докучаевым и его коллегами методик создания защитных лесополос [Moon, 2020].

Эти методики начали активно разрабатываться в ходе катастрофы 1891–1892 гг., когда жестокая засуха с пыльными бурями

привела к голоду, который вызвал острую реакцию всего русского общества. Были поставлены вопросы о вредном воздействии человека на окружающую среду, о возможностях и методах земледелия в степной зоне, об изменениях климата и засухах, о способах предотвращения эрозии почв, – короче говоря, обо всем, что вредило плодородию. Одним из первых ответов стала публикация книги Докучаева «Наши степи прежде и теперь» (1892). Написанная доступным и одновременно ярким языком, она не только давала читателю общие знания о естественно-исторических условиях степной зоны, но и намечала обширную программу ее «улучшения» и сохранения. В центре внимания автора – обеспечение водного баланса почв в степной зоне. Важная роль в программе отводилась защитной функции лесов, в том числе говорилось о необходимости сохранения полноводности русских рек путем высадки деревьев вдоль их берегов [Moon, 2020, p. 25].

Деятельность Докучаева высвечивает те особенности русской науки, которые фиксируются зарубежными исследователями. В первых, отмечается присущее ей целостное (холистическое) понимание физической среды, сохранившее свои позиции и в советское время, – о чем свидетельствуют научные биографии географов Л.С.Берга (1876–1950) и А.А. Григорьева (1883–1968). Другой ее особенностью, пишут Дж. Одфилд и Д. Шоу, было «понимание науки как созидательной силы, призванной служить общественному благу». По их мнению, присущий образованной элите «этос служения» вел свое происхождение из XVIII в. Ведущие ученые и царской, и Советской России исповедовали эту этику [Oldfield, Shaw, 2016].

Следует добавить, что естественные науки в России развивались в активном взаимодействии с обществом, испытывавшим к науке все возрастающий интерес, и немалую роль здесь играла гражданская позиция ученых, которая обеспечивала им авторитет – и популярность. Рубеж веков, судя по ряду исследований, – время, когда представления общества о природе сложились в весьма определенный (и влиятельный) дискурс.

Кризис 1891–1892 гг. стал в этом отношении поворотным моментом. В горячих дебатах на страницах газет и журналов формулируется, в частности, идея о том, что природные богатства России – леса, реки, почвы, полезные ископаемые – являются национальным достоянием [Pravilova, 2019]. Нельзя сказать, что до этого общество было глухо к «проблемам окружающей среды». В книге Джейн Костлоу [Costlow, 2013] прослеживаются дискуссии 1860–1880-х годов в «толстых» журналах (в частности, в «Русском вестнике») о русских

лесах, судьба которых вызывала острую тревогу. Речь шла об угрожающем обезлесении в результате распашки земель, прежде всего в южных районах Европейской России.

Однако надежных статистических данных по России в тот период еще не было, поэтому писавшие об этой проблеме ссылались на примеры Западной Европы, предсказывая, что катастрофическое обезлесение предгорий французских Альп и речных долин Германии – «наше будущее». Как замечает Е. Правилова, складывавшаяся в России идеология охраны лесов формировалась вовсе не под влиянием реальной опасности – первоначально это был импорт европейской науки, и прежде всего передового немецкого лесоводства [Pravilova, 2014, p. 48]. Уже в 1830–1840-е годы важной темой дискуссий стало право частной собственности на леса, воды и подземные богатства, которые предложили считать достоянием всего общества, а не только их непосредственных владельцев. Доказывалось, что эти ресурсы (за исключением лесопосадок) не являются плодом человеческого труда и потому должны находиться в распоряжении государства, которое сумеет рационально, на научных основаниях управлять ими в интересах настоящих и будущих поколений [Pravilova, 2014, p. 50–51].

После отмены крепостного права правительство всерьез занялось проблемой активной вырубке лесов землевладельцами и крестьянами, пытавшимися удержаться на плаву в трудной экономической ситуации. Однако планы по ограничению прав частной собственности встретили ожесточенное сопротивление дворянства. Готовившаяся реформа лесного хозяйства страны требовала тем не менее усиления роли государства. Рассматривались и активно обсуждались два варианта: введение государственного контроля над частными лесами и их «экспроприация», т.е. выкуп. Владельцы склонялись ко второму, поскольку не желали пускать государственных контролеров в свои владения, а практика выкупа земель под строительство железных дорог уже имелась [Pravilova, 2014, p. 61–64].

В 1870–1880-е годы и общественным деятелям, и ученым, и просвещенным помещикам было уже очевидно, что сведение лесов ведет к превращению целых местностей в «засушливые пустыни». Как показала в своей книге Дж. Костлоу, картины гибнущей природы глубоко проникали в сознание общества, тем более что они находили отражение не только в публицистических текстах, но и в художественной литературе и в изобразительном искусстве. Автор останавливается на произведениях Тургенева, Толстого, Некрасова, Мельникова-Печерского, анализирует картины Репина и Нестерова,

которые отражали тревогу современников. Напрямую она выражена в страстном монологе Астрова в «Дяде Ване» о губительных последствиях исчезновения лесов [Costlow, 2013, p. 110–111]. Кроме того, и сам троп «русского леса», олицетворявшего не просто «родную природу», но саму Россию, играл большую роль в росшем национальном самосознании.

В публичном дискурсе XIX – начала XX в., в который вносили свой вклад писатели и художники, ученые и публицисты, наконец, религиозные деятели и «технократы-практики», лес предстает олицетворением России и источником ее материального и духовного богатства. При этом все заметнее были тревожные нотки, с возрастающим ощущением конечности этого ресурса. В России, как показала Дж. Костлоу на примере деятельности популяризатора естествознания, «отца русской фенологии»<sup>1</sup> Д.Н. Кайгородова (1846–1924), вырабатывалась особая «природоохранная этика», базирующаяся на значительном фундаменте текстов и образов, в которых лес занимал основополагающее место.

Для характеристики ситуации показательна научная биография Г.Ф. Морозова (1867–1930) – профессора Лесного института в Петербурге, редактора влиятельного «Лесного журнала», автора классического труда «Учение о лесе» (1912). В его холистическом учении лес предстал как биологическое, географическое и историческое явление, тесно связанное с природной средой – климатом, почвой и животным миром. Морозов, во многом в противовес воззрениям господствовавшей ранее германской традиции с ее стремлением к созданию организованного лесного пространства, выработал новый подход, в котором связал воедино экономическую функцию (лесное хозяйство) и природоохранную (лесоводство). Его подход базировался на утверждении, что русские леса требуют к себе более осторожного отношения, чем леса Западной Европы. И потому лесничие должны активно, но ненасильственно регулировать жизнь каждого конкретного лесного участка в соответствии с его биологическими потребностями. Еще до революции 1917 г. Морозов и его многочисленные последователи выступали за национализацию частных лесов (которые составляли в 1914 г. чуть более 20% против 40% в 1860-е годы), утверждая, что только правительство может поставить во главу угла здоровье леса, а не извлечение прибыли [Brain, 2011].

---

<sup>1</sup> Фенология – наука, изучающая сезонные ритмы природы.

В «природоохранном» дискурсе Российской империи, складывавшемся в последние десятилетия ее существования, можно отметить ряд тропов, несущих характер нормативности и должностования: обеспечить продовольствием голодных; совершить исторический прыжок из «азиатской» отсталости и стать передовой цивилизацией; провести национализацию, поскольку роль государства признавалась решающей. Как отмечает М. Эрли, советское отношение к природе следует рассматривать в контексте этих представлений XIX в. [Erley, 2021, p. 3].

Кризис 1891–1892 гг. стал важнейшим фактором как в формировании дискурса о природе, опиравшегося на естественные науки, так и в активизации политики правительства и ее переориентации. Министерство государственных имуществ стало Министерством земледелия с отдельным департаментом мелиорации, в котором работали серьезные специалисты. В конце XIX в. мелиораторы верили, что могут улучшить условия земледелия, повлиять на климат и почвы и приспособить их к нуждам народного хозяйства. Говорилось о том, что нужно «управлять водами» и подчинить их воле человека. Такова была идеология нового поколения инженеров-гидрологов, лежавшая в основе масштабного плана по мелиорации (осушению и орошению) 100 млн десятин земли. Научные экспедиции министерства в 1894–1896 гг. обследовали режимы русских рек, изучили традиционные методы их регулирования и использования и придумали новые, которые могли бы обеспечить эффективную эксплуатацию и одновременно сохранение водных ресурсов. Мелиораторы пришли к выводу о необходимости срочного принятия водного закона, который ограничил бы права владельцев прибрежных территорий, – без этого никакие серьезные гидротехнические проекты были нереальными [Pravilova, 2014, p. 104].

Значение рек как путей сообщения, как источника воды для сельского хозяйства и для растущих городов и, наконец, как национального богатства, было в 1890-е годы осознано во всей полноте. В эти годы российская индустриализация находилась на своем пике: строились железные дороги, заводы и фабрики, разрабатывались угольные месторождения, росли и электрифицировались города. Довольно быстро стало понятно, что реки – необходимый элемент решения стоящих перед страной инфраструктурных задач. Именно тогда русские инженеры начали разрабатывать проекты, многие из которых были реализованы в советское время, а некоторые – как, например, поворот сибирских рек, остались памятниками инженерно-технической мысли эпохи модерна.

В эти годы в Европе и Америке реализовались грандиозные проекты: в 1895 г. кайзер Вильгельм торжественно открыл канал, соединивший Балтийское и Северное моря; в 1904 г. началось строительство Панамского канала. Столь же грандиозные планы создавали и русские инженеры, их технологическое воображение не знало границ [Pravilova, 2014, p. 115].

Вся эта деятельность была отмечена совершенно определенным стремлением «завоевать природу» – своего рода *profession de foi* молодых инженеров, видевших свою «миссию» в преобразовании не только материального, но и социального мира. Их целью было «заставить природу работать» во благо человека, цивилизации и прогресса [Pravilova, 2014, p. 128]. Майя Петерсон называет взгляды такого рода «частью глобального диалога о могуществе науки и технологий», которые призваны содействовать движению человечества по пути прогресса в эпоху «современности» – когда отставание казалось величайшим грехом [Peterson, 2019, p. 3], а Юлия Обертрайс – идеологией высокого модернизма, относя ее, правда, к послевоенному периоду [Obertreis, 2017].

Троп «завоевания природы», описывающий отношения человечества с окружающим миром, вел свое происхождение из века Просвещения. Тогда исходили из представлений об уязвимости человека перед силами природы, издревле налагавших существенные ограничения на его жизнь. В период научно-технологической революции второй половины XIX в. под «завоеванием природы» подразумевалось «драматическое изменение ландшафта для удовлетворения человеческих нужд» [Chu, 2020, p. 112–113]. Представлялось, что технологические достижения позволят освободить человечество и поставить природу на службу человеку.

Эта идеология стала одним из центральных догматов для пришедших к власти большевиков, и инженеры вполне разделяли их «этику модернизации», с большим энтузиазмом участвуя в проектах по преобразованию природы. Новое советское государство реализовало так называемый проект Просвещения с его верой в могущество науки и технологий, в необходимость трансформации общества на научных основаниях. К 1930-м годам СССР взял на вооружение и имперскую «цивилизаторскую миссию» – в виде триединого проекта индустриализации, коллективизации и культурной революции, который подразумевал привнесение цивилизации на окраины бывшей империи и воплощал борьбу с «темнотой» и отсталостью [Peterson, 2019, p. 20–21].

Э. Бруно в своем исследовании экологической истории российской Арктики выделяет две концепции отношения к природе: антагонистическое «завоевание» и целостное, холистическое, ставящее во главу угла сохранение природных богатств и гармонизацию отношений человека и окружающей среды, – ассимиляцию. Оба подхода сосуществовали с дореволюционного времени и на протяжении всего советского периода, причем на первый план выдвигался то один из них, то другой. Бруно прослеживает эту динамическую кривую на примере строительства мурманской железной дороги, задуманной в начале XX в. сторонниками «ассимиляционистского подхода». Однако обстоятельства сыграли свою роль: стройка началась в ходе Первой мировой войны, и возобладали «воинственные» методы – уничтожение широкой полосы леса и взрывные работы для экономии времени. Они с успехом перекочевали в советское время.

В СССР знакомое по XIX в. понятие «завоевания природы» несло дополнительную идеологическую нагрузку. Историки отмечают, что государственной идеологии и риторике была свойственна «безрассудная вера в возможности советского общества построить коммунизм в одной стране. Наука являлась одним из ключевых двигателей преобразования природы и играла большую роль в продвижении разрушительных для окружающей среды проектов». «Прометеевские» проекты эпохи сталинизма основывались на представлении о примате общества над природой и одновременно характеризовались утилитарным подходом, а излишнее «революционное рвение» порождало такие фигуры, как Лысенко [Oldfield, Shaw, 2016].

Однако идеология сталинизма представляла собой более сложное явление. Анализируя отношение к природе, Э. Бруно усматривает в сочетании дискурсов завоевания и ассимиляции «смесь гармонии и доминирования», присущую в целом этой идеологии, нацеленной на достижение социального согласия самыми жесткими методами [Bruno, 2016, p. 15]. В то же время «дуалистическая концепция природы» не представляла собой нечто уникальное, а политика Советского Союза, пишет Бруно, ничем не отличалась от опыта других модернизирующихся стран, осваивавших пространство, и отнюдь не является примером какого-то «отклонения», свойственного коммунистическим режимам. СССР разделял общий для всех категорический императив экономического роста любой ценой. Взгляд и наблюдателей, и историков «затуманивался» тем, что любые заимствованные технологии изначально объявлялись только и единственно достижением социализма, а агрессивная политика

индустриализации объяснялась необходимостью быстро преодолеть отсталость страны [Bruno, 2016, p. 16].

Следует заметить, что оба противоборствовавших в XIX–XX вв. дискурса имели общую основу. В представлениях того времени природа являлась объектом – и для тех, кто видел в ней исключительно источник богатств, подлежащих извлечению, и для тех, кто был озабочен ее сохранением. В последнем случае она выступала «жертвой», с которой хищнически расправляются и которую следует защищать. При этом отмечается, что в советском дискурсе, колеблющемся между императивами развития и служения, мы можем различить то, что Энди Бруно назвал дуализмом враждебности и холизма [Erley, 2021, p. 7].

Как замечают специалисты, следует разделять публичный дискурс, государственную идеологию и позицию ученых. Борьба с природой и ее покорение – одна из центральных тем культуры и пропаганды эпохи сталинизма. Художественная литература, фильмы и пресса изображали борьбу советского общества с «пространством», включая реки и океаны, небо и землю, тундру, тайгу и пустыню. Масштабные стройки социализма изображались как героические предприятия, сравнимые с военными кампаниями, где не считаются с потерями ни людей, ни материальных ресурсов. Риторика завоевания помогала мобилизовать советское население, подчеркивая всемогущество человеческой воли. Она также была созвучна со стремлением переделать человека, отсылая к высказыванию Горького о том, что люди, преобразовывая природу, переделывают и самих себя [Chu, 2020, p. 112–113].

В советском дискурсе троп «завоевания природы» сигнализировал о возрождении романтизма, составлявшего важную часть поэтики эпохи сталинизма. Распространенные в литературе и прессе фигуры речи, подчеркивавшие дуализм человека и природы, изображали ее и как врага, которого нужно завоевать, и как загадку, которую нужно разгадать, и как сокровищницу, которую нужно «отпереть» [Chu, 2020, p. 118].

Как показала в своей работе, посвященной истории советского мерзлотоведения, американская исследовательница Пэй-И Чу, в научном дискурсе наряду с концептом «завоевания» присутствовал и концепт «освоения». Оба часто использовались учеными как взаимозаменяемые. При этом концепт «освоения» подразумевал еще и «развитие» и не исключал любви к природе в том смысле, который придавали ей ученые-естественники рубежа веков [Chu, 2020, p. 113–114].

Риторика завоевания природы особенно громко звучала там, где внешние условия были наиболее неблагоприятными для человека, –

прежде всего, в северных широтах, а также на масштабных стройках, – то есть там, где требовалась максимальная мобилизация. В области лесоохраны, где ситуация не была такой острой, вплоть до начала 1950-х годов соседствовали и боролись между собой «консервационный» дискурс с его романтическим национализмом и «революционный» прометеевский, провозгласивший, что «революция покончила с подчинением человека природе» и освободила его от «старомодных идей» о необходимости сохранять лесные ресурсы. Сторонники максимизации промышленного производства древесины возобладали на весьма короткое время. В 1930 г. в Ленинградской области было вырублено 147% от ежегодного прироста леса, а в Московской – 229%. В Рязанской области план по лесозаготовкам был выполнен на 46 лет вперед. В этих условиях сторонники охраны лесов – «технократы», как их называет С. Брейн, выдвинули на первый план аргумент, взятый из арсенала дореволюционной науки. Они напомнили, что быстрое исчезновение лесов опасно для гидрологического режима рек Европейской России, и в настоящий момент это несет прямую угрозу проектам по строительству плотин и электростанций, в частности Днепрогэса. В 1931 г. «сам Сталин» принял решение, надолго поставившее охрану лесов в приоритетное положение [Brain, 2011].

После смерти Сталина началась новая эпоха, и крайности обоих подходов, как пишет Э. Бруно, стали смягчаться – причем целенаправленно Хрущевым и Брежневым, у которых были свои мегапроекты: освоение целины и поворот сибирских рек [Bruno, 2016, p. 13–14]. Новый подъем интереса к естественным наукам («сциентизм 1960-х годов») подчеркнул их важность для коммунистического проекта. Был брошен вызов сталинскому жесткому разделению природной и социальной сфер. В СССР возникают первые признаки природоохранного движения (и инвайронменталистской мысли, нацеленной на изучение и понимание природных систем) [Oldfield, Shaw, 2016]. Однако экономика оставалась главным драйвером для государства, и негативное воздействие на природу росло по мере роста производства. Хотя в публичный дискурс вошла задача охраны природы – указывалось, что в отличие от хищнического капитализма социализм ее бережет, – вторая половина XX в. принесла куда больше разрушений, чем первая [Bruno, 2016, p. 15]. Несмотря на возникавшие дискуссии о необходимости рационального природопользования и сохранения природных ресурсов, социалистическая индустриализация шла своим путем, а стратегические требования холодной войны стимулировали советские (как и американские) «прометеевские» тенденции [Oldfield, Shaw, 2016].

## ИМПЕРИЯ И ПРИРОДА

История империи фундаментально связана с окружающей средой, поскольку империя, как пишет британская исследовательница Дж. Китинг, «развивается через природу», изменяя ее и изменяясь сама под воздействием физико-географических условий. И для того, чтобы понять империю в ее российском воплощении, требуется «целостное рассмотрение окружающей среды и ее роли посредника в контексте расширения политического суверенитета и построения асимметричных политических режимов власти, процессов миграции и торговли». Власть и суверенитет, раса и гендер, наконец, капитал – все эти категории традиционного исторического исследования «физически, интеллектуально и юридически имеют отношение к природе и укоренены в ней» [Keating, 2022, p. 3–4]. Значимыми компонентами имперского режима наряду с установлением контроля над территорией являются управление окружающей средой и ее эксплуатация, что включает в себя создание транспортной инфраструктуры, заселение земель, «улучшение земли» в самом широком смысле этого слова, развитие земледелия и получение ресурсов [Keating, 2022, p. 7]. Эти «экологические» темы не так давно вошли в круг интересов зарубежной русистики, с 1990-х годов занимавшейся изучением истории России как многонациональной империи и достигшей в этой области впечатляющих результатов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Большакова О.В. Россия как многонациональная империя: итоги и перспективы изучения // Российская история. – Москва, 2021. – №.4. – С. 163–177.

Строительство Российской империи происходило путем колонизации и освоения новых и все более отдаленных от центра территорий. Поначалу это выглядело как простое «расширение запашки», по существу «аграрный» процесс, однако постепенно он наполнялся идеологическим содержанием. В обиход входит выработанный веком Просвещения понятие «цивилизации» и ее развития в истории. Кочевые народы, согласно этим представлениям, исторически предшествовали земледельческим, и приучение их к оседлому образу жизни стало одной из целей «цивилизаторской миссии», которую начали осуществлять империи. В XIX–XX вв. страны европейского культурного ареала, одержимые идеей прогресса и развития, несли цивилизацию в «отсталые» регионы, стремясь «поднять» их до соответствующего уровня. Это означало в первую очередь глубокую перестройку сельского хозяйства, с постепенным искоренением кочевого скотоводства и заменой его земледелием той или иной степени товарности, и только во вторую – развитие промышленности<sup>1</sup>. В результате кардинально изменялись местные ландшафты, иногда вплоть до экологических катастроф.

Изменения окружающей среды находятся в центре внимания экоисториков, в случае империй это двуединый процесс освоения новых территорий, включающий в себя заселение (колонизацию) и «окультуривание» земель, прежде всего распашку и орошение. В их работах показывается, что извлечение ресурсов в «век империализма» маскировалось риторикой «развития», причем не только местного населения, пребывающего во мраке невежества, но и природы, находящейся в «упадке» без вмешательства человека. В Российской империи, ничем не отличавшейся от своих европейских соседей, практики колониализма реализовались во всей полноте, с той только разницей, что колонизация происходила на примыкающих к метрополии территориях и могла быть представлена как «внутренняя». Тем не менее в России применялись те же формы и способы установления политического контроля – которые также находятся в фокусе интереса экоисториков. Однако больше внимания они уделяют природе и колонизаторам, чем местному населению, и явно недостаточно используют концепцию «поселенческого колониализма» (settler

---

<sup>1</sup> О том, к чему в 1930-е годы привела советская политика искоренения кочевого образа жизни в казахской степи, см.: [Cameron, 2018].

colonialism), хорошо разработанную на материале американского Запада<sup>1</sup>.

«Укрощение дикого поля» – так можно перевести название книги Уилларда Сандерленда о превращении степей юга Европейской России в XVIII–XIX вв. из опасного и чуждого пограничья в составную часть империи<sup>2</sup>. Термин «Дикое поле», обозначающий степи Северного Причерноморья, Приазовья и Прикаспия, населенные кочевниками, в борьбе с которыми строилось Русское государство, – первое, что бросается в глаза историку России, берущему в руки эту книгу. Начиная с С.М. Соловьева противостояние «Леса» со «Степью» считалось системообразующим в становлении российской государственности. Зарубежные историки хорошо осведомлены об этой проблеме благодаря трудам Г.В. Вернадского, всегда уделявшего большое внимание географическому фактору и той роли, которую степь играла в русской истории. Однако перевести название можно иначе – как «распашка целины». Этот вариант и является на самом деле основным, поскольку в книге речь идет о том, как славянское земледельческое население двигалось на юг и юго-восток, заселяя и распахивая земли. Освоение степи автор трактует как проект «русского империализма», в котором переплелось строительство государства, нации и общества. К XIX в. в ходе сложного процесса экспансии и колонизации прежняя враждебная «Степь» стала восприниматься как земля безграничных экономических возможностей и даже один из символов России.

Процесс миграции развернулся по-настоящему в XVIII в., активизировавшись после решающих побед над Османской империей и аннексии Крымского ханства, когда Причерноморские степи вошли в состав Российской империи. С точки зрения геополитики Д. Мун вслед за другими историками-русистами трактует российскую экспансию как часть процесса разделения евразийской степи между империями – Российской, Османской, персидской империей Сефевидов и Китаем, – который осуществлялся не только посредством военной силы. Использовались методы присоединения, включения и подчинения частей региона путем активного участия в политике Степи, манипулирования соперниками, заключения

---

<sup>1</sup> См.: Holleman H. Dust Bowls of empire: Imperialism, environmental politics, and the injustice of 'green' capitalism. – New Haven, CT : Yale univ. press, 2018.

<sup>2</sup> Sunderland W. Taming the wild field: Colonization and empire on the Russian steppe. – Ithaca : Cornell univ. press, 2004.

союзов с отдельными народами против других и кооптации их элит [Moon, 2013, p. 11].

В своей книге «Плуг, разрушивший степи» Д. Мун с инвайронменталистских позиций прослеживает историю этих обширных территорий с начала XVIII в. до революции 1917 г.

Население степного региона европейской части Российской империи в течение XVIII в. выросло более чем в восемь раз: приблизительно с 380 тыс. чел. в 1719 г. до 3200 тыс. в 1795 г. К концу XIX в. оно достигло 14 млн человек, а наибольший рост наблюдался в начале XX в., составив в 1914 г. более 25 млн человек [Moon, 2013, p. 17]. Население росло в основном за счет славянской миграции, а также немецких колонистов, которым правительство Екатерины II стало предлагать земли и привилегии.

Большинство переселенцев прибывали из лесной либо лесостепной зоны, и контраст с полузасушливой степью бросался им в глаза. Однако привлекал чернозем, суливший невиданные урожаи в хорошие годы, хотя периодические засухи и нашествия вредителей несли большой риск, вплоть до голода. При этом мигранты сохраняли свой привычный образ жизни, и только проявившиеся через какое-то время экологические последствия освоения степи заставили их, как считает Д. Мун, задуматься, начать приспосабливаться к природным условиям и даже вырабатывать идеи, которые отсылают к сегодняшним понятиям «консервации» и «устойчивости» [Moon, 2013, p. 1].

Поскольку большинство переселенцев были европейского происхождения, Мун рассматривает историю евразийской степи как пример колониализма, сравнивая ее с историей Великих Равнин в США. Он опирается на концепцию экологического империализма, сформулированную когда-то А. Кросби в одноименной книге, где он исследовал создание своего рода «нео-Европ» мигрантами в Северной и Южной Америке, а также в Австралии. Кросби писал о том, что агрикультура европейского образца была успешно экспортирована в другие части света и в ходе этого процесса осуществлялось вытеснение коренных народов и их образа жизни; европейскими видами вытеснялись местная флора и фауна. Степные пространства Российской империи, по мнению Муна, – вполне подходящий кандидат на роль такой «нео-Европы». Это один из примеров экосистемы, которая подверглась изменениям в результате европейского колониализма, только в данном случае в континентальной, а не «морской» империи [Moon, 2013, p. 22].

Изменения в результате заселения степи в течение XVIII–XIX вв. произошли серьезные: кочевое скотоводство местных жителей почти вытеснилось оседлым земледелием и животноводством, были сведены немногочисленные леса, исчезали эндемичные флора и фауна (самый яркий пример – дикие лошади и сайгаки). В условиях распашки больших массивов земель началась эрозия почв, участились засухи и пыльные бури, которые все чаще стали связывать с деятельностью человека<sup>1</sup>. Ключевой проблемой, естественно, являлось снабжение водой [Moon, 2013, p. 4].

Как показывает Д. Мун, зерновое земледелие укоренялось в степи постепенно. Шло приспособление к климату и почвам, для обработки которых не годилась русская соха. Украинцы принесли с собой тяжелый колесный плуг, который тянули волы, многие переселенцы начали использовать местный татарский плуг – сабан. Вводились новые культуры, поскольку привычные овес и озимая рожь плохо росли в условиях степного климата. Из лесостепных районов Украины и из Молдавии колонисты привезли с собой яровую пшеницу и кукурузу, использовались и местные сорта, в частности гирка, мягкая красная пшеница, и белая твердая арнаутка, о которой писал еще Андрей Болотов<sup>2</sup>. Эти доморожденные старинные сорта, выдерживавшие засуху и ветра, стали основой зернового хозяйства в регионе и шли главным образом на экспорт [Moon, 2013, p. 18].

Степные хозяйства довольно быстро вышли на мировой рынок, им приходилось учитывать экономическую конъюнктуру. Так, начиная с 1840-х годов в Европе и в Англии резко вырос спрос на зерно, в то время как развитие овцеводства в Австралии создавало серьезную конкуренцию в связи с резким удешевлением шерсти. В итоге в Новороссии, например, большая часть хозяйств перешла к выращиванию пшеницы, которая экспортировалась через черноморские порты. После отмены крепостного права тенденция усилилась, поскольку и крестьяне, и помещики были заинтересованы в прибыльности – притом что земледелие в степи оставалось экстенсивным благодаря обилию земли и относительной редкости населения [Moon, 2013, p. 19].

---

<sup>1</sup> Если в 1725 г. доля пахотной земли в степных регионах составляла 9%, пастбищ – 43 и лесов 29%, то в 1887 г. это было 52%, 30 и 9% соответственно. Причем в Таврической, Херсонской и Екатеринославской губерниях было распахано к этому времени две трети земель [Moon, 2013, p. 21].

<sup>2</sup> Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – ученый, ботаник и лесовод, известный своими многотомными «Записками».

В литературе о «жарких странах» давно стало общим местом, что осознание тяжелых последствий деятельности белого человека для природы колонизируемых стран пришло довольно рано. Уничтожение лесов вело к эрозии почвы и изменениям местного климата, который становился более сухим и характеризовался резкими перепадами погоды. Привозные растения и животные, в том числе сорняки и вредители, способствовали деградации природы, что было особенно заметно на островах, таких как Мадейра, Капо Верде или Канары. Попытки сгладить наносимый окружающей среде вред, и прежде всего путем возобновления лесов, стали темой многих исследований, опиравшихся на ставшую классической работу Ричарда Гроува «Зеленый империализм»<sup>1</sup>. Главной «точкой напряжения» в этих исследованиях выступал конфликт между императивом эксплуатации природных ресурсов и требованиями ученых эти ресурсы сохранять – впрочем, для их «эффективного использования». Те же проблемы стояли и перед Российской империей, обеспечившей своим подданным возможность заселять широчайшие пространства степей, не менее уязвимых с точки зрения своей природной целостности, чем тропические острова.

Источники, которыми пользуется Мун, призваны в первую очередь осветить представления о степи и не в последнюю – нарисовать картину состояния природы до массовой распашки земель, для чего используются описания очевидцев и данные натуралистов, прежде всего участников экспедиций Академии наук 1768–1774 гг. под руководством П.С. Палласа. Это та точка отсчета, которая позволяет адекватно оценить данные, относящиеся к концу XIX – началу XX в. Здесь основным источником являются труды В.В. Докучаева и его коллег. При этом научное изучение степи рассматривается в широком институциональном, политическом, экономическом, социальном и культурном контексте, в котором работали ученые. Отсюда внимание к делопроизводственной документации и к статистике; к деятельности земств и Вольного Экономического и Русского Географического обществ, а также многочисленных сельскохозяйственных обществ, в особенности Юга России. Автор отдает должное публицистике, периодической печати, художественной литературе и изобразительному искусству, где создавался публичный дискурс о степях.

---

<sup>1</sup> Grove H. Green imperialism: Colonial expansion, tropical island Edens and the origins of environmentalism, 1600–1860. – Cambridge : Cambridge univ. press, 1995.

Реконструировать на основе традиционных источников массовые представления крестьян об окружающей их природе – так же как и их предшественников, кочевников, – не представляется возможным, и автор не ставит перед собой такой задачи, поскольку ее решение требует иного подхода и иной методологии [Moon, 2013, р. 25–26]. Для «глубокого погружения» в тему автор много путешествовал, посетил заповедник Аскания-Нова, который позволяет понять, как степь выглядела сотни и тысячи лет назад, побывал на опытных станциях и лесных плантациях, разговаривал с учеными, агрономами, фермерами, лесниками и просто с местным населением, потомками колонистов и казаков. Весной и летом 2003 г. он был свидетелем засухи и неурожая в Ростовской области и Краснодарском крае и понял те чувства разочарования и безнадежности, которые испытывали когда-то жители степей перед лицом надвигающегося голода [Moon, 2013, р. 31–29]. При этом он всегда отдавал себе отчет, что сам живет совсем в других природных условиях и это влияет на его восприятие.

Мун осознанно пишет «историю победителей», которые «аннексировали, заселили и распахали землю, периодически, правда, высказывая опасения, что они ее “испортили”». Центральная часть его книги посвящена изменениям в экологии степей Юга России и общему их восприятию. В числе широко обсуждавшихся проблем наряду с дискуссиями об изменении климата (действительно ли засухи стали более частыми и почему) – сведение лесов, эрозия почв, колебания уровня грунтовых вод и снижение плодородия – все, что наносило вред пахотному земледелию. В центре внимания находится вопрос о том, что явилось причиной изменений в окружающей среде, являются ли они «естественными» или антропогенными. Рецепты решения рассматриваются в третьей части книги («Что делать»). Изначально речь шла о том, чтобы «добавить» степям то, чего там не хватает, и потому подробно рассматриваются меры по лесонасаждению и ирригации, которые, однако, не дали ощутимых результатов. К началу XX в. внимание переместилось на водосберегающую агротехнику, чтобы не менять среду, а приспособливаться к ней.

Топография степей Европейской России, где русла рек были глубоко врезаны в рельеф и поля находились намного выше уровня воды, требовала масштабного подхода к орошению, что было признано нецелесообразным и экономически невыгодным. Государственный совет отдал предпочтение проектам ирригации в Средней Азии и на Кавказе, где предполагалось развернуть производство

товарных сельскохозяйственных культур – хлопка, чая и табака [Moon, 2013, p. 232, 240].

Завоевание Средней Азии и образование в 1867 г. Туркестанского генерал-губернаторства исследователи относят к последней волне российской экспансии, которая происходила в новую эпоху развития науки и технологий, транспортного сообщения и коммуникаций, все более глобализирующихся рынков и нарастающих волн миграции [Keating, 2022, p. 4]. В этот период Россия встала в один ряд с такими странами, как Англия и Франция, изменились и ее самоощущение, и способы управления, и лежавшая в их основе цивилизаторская риторика. Сам «научный» дискурс того времени был европейским и отсылал к современному, модерному колониальному строительству, с характерным для него стремлением «возвысить» отсталые окраины.

Для колонизаторов восприятие разнообразных ландшафтов Туркестана и его не менее разнообразного населения было тесно связано с их планами по трансформации региона, пишет Ю. Обертрайс [Obertreis, 2017]. Ключевое значение имела идея окультуривания и обработки больших неиспользуемых площадей «безжизненной» пустыни и степи. И если степь была уже хорошо знакома «коллективному воображению» империи – и как ландшафт, и как историческое пространство, – то пески, тем более таких масштабов, как пустыни Каракумы и Кызылкум, представляли собой нечто новое. Пустыня описывалась как мир неизвестный и угрожающий, более опасный для жизни, чем вражеские войска. «Страна зноя и жажды», она ассоциировалась с лунным ландшафтом, и в восприятии первого генерал-губернатора Туркестана Кауфмана отсутствие людей и деревьев было главным признаком «опустошенности» края. Чтобы превратить эту «бесприютную» землю в «ландшафт», ее следовало засадить растительностью. Такого рода описания характерны для текстов военных, инженеров и всех тех, кто был озабочен вопросами экономического развития [Obertreis, 2017, p. 57–58].

Пески, способные похоронить под собой деревья и здания, поражали воображение. В то же время оазисы Туркестана с их «страшным плодородием» выступали в описаниях контрастом «абсолютному бесплодию» пустынных земель и давали представление о том, во что можно превратить мертвую землю. Как отмечает Дж. Китинг, «колебания между изобилием и нехваткой» – характерная логика фронта, основанная на резких противопоставлениях [Keating, 2022, p. 22].

Миссия Российской империи подавалась людьми, вовлеченными в процесс, как принесение цивилизации в страну, стагнировавшую «под игом ислама и азиатского деспотизма», как привнесение организации и эффективности в «хаотический беспорядок» [Keating, 2022, p. 22]. В то же время в метрополии существовал влиятельный дискурс о российской политической, экономической и технологической отсталости, даже о ее зависимости от Западной Европы в том, что касалось технологий и оборудования. Среднеазиатская колония давала возможность предстать в качестве «европейской державы», экспортирующей достижения Запада на Восток [Obertreis, 2017, p. 133]. Превосходство русской цивилизации оказывалось неоспоримым, когда речь шла о кочевом населении и о деспотическом правлении ханов и эмиров. Улучшения могли быть привнесены только извне, и, по мнению цивилизаторов, край и его население только и ждали этого [Obertreis, 2017, p. 59, 133].

В то же время на практике отстаивать свои притязания русским было не так легко, поскольку даже в 1897 г., согласно переписи, переселенцы из России составляли менее 4% населения Туркестана, в 1911 г. – 6%, т.е. 400 тыс. из 6,5 млн туркестанцев. Русская власть держалась на присутствии военных, указывает Ю. Обертрайс [Obertreis, 2017, p. 55]. При этом масштабное применение силы использовалось, как считается, лишь дважды: при штурме туркменской крепости Геок-Тепе в 1881 г. и при подавлении Андижанского восстания 1898 г.

Предпосылкой завоевания Средней Азии и основой для ее последующего освоения царской Россией явились, по мнению зарубежных историков, научные исследования, активизировавшиеся с середины XIX в. и продолжавшиеся после падения режима. Они связаны с деятельностью как Императорского Русского географического общества (ИРГО), так и других организаций. Среди исследователей были ботаники, географы, геологи, инженеры, гидрологи, этнографы, лингвисты и археологи. Достаточно назвать такие имена, как Н.А. Северцов, Н.А. Пржевальский, В.А. Обручев, Л.С. Берг, С.Ф. Ольденбург и др.

Исследования поставили в центр внимания проблему водных ресурсов, поскольку в жарком климате территория могла расцвести исключительно благодаря орошению, а его отсутствие, как показывали многочисленные следы древних цивилизаций, вело к деградации. Ирригация была ключом к преобразению и пустыни, и населения Туркестана. Тема ирригации несла в себе сильный политический заряд, ведь тот, кто владеет водой, владеет Азией – и

ее природой. В более широком смысле «владение водами» составляет существенную часть имперского проекта XIX в.

Оросительные и транспортные каналы, роскошные оазисы, плантации, занимающие огромные площади ранее бесплодных земель, – все это, по словам Е. Правиловой, было призвано продемонстрировать «цивилизаторскую энергию и превосходство Запада над Востоком». Тема водных ресурсов весьма актуальна для историографии, где она рассматривается в рамках концепции «гидравлического империализма» (как части «экологического империализма») в колониях Британии и Франции в период XIX–XX в., и довольно хорошо изучена [Pravilova, 2009, p. 255].

В своей статье Правилова отмечает, что традиция рассматривать историю империй исключительно сквозь призму социальных, национальных, экономических и политических конфликтов уже практически изжила себя. Окружающая среда является полноправным участником этих отношений и важнейшим фактором в формировании идентичности колониальных поселенцев. Ландшафт и климат вкупе с традициями и обычаями местного населения формировали особый тип людей, которые жили «на задворках империи». И неудивительно, что первые экологические проекты возникли в колониях и на периферии: нетронутая природа как бы призывала колонистов приложить все свои силы и знания, обещая успех, а также немалую прибыль. И британская «каналомания» 1850–1860-х годов в колониях, и русская «хлопковая лихорадка» 1880-х годов в Туркестане одинаково заслуживают изучения. Однако первая изучена почти исчерпывающе, в то время как русские «манифестации имперской политики» в этой области еще ждут своего исследователя [Pravilova, 2009, p. 255–256].

С тех пор как вышла статья, многое изменилось. Появилось немало работ об ирригации и изменении водного режима рек и каналов, среди них две монографии – написанные американской исследовательницей Майей Петерсон (1980–2021)<sup>1</sup> и немецким

---

<sup>1</sup> В память об умершей в родах Майе Петерсон состоялась конференция в Дэвисовском центре Гарвардского университета, которую посетили 140 чел., в журналах «Критика» и «Славянское обозрение» коллеги опубликовали подборки статей по экоистории (Review Forum: Celebrating Maya Peterson and her work // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. – 2022. – Vol. 23, N 2. – P. 33–371; Cluster: The Soviet Steppe – Transformations and imaginaries // *Slavic review*. – 2022. – Vol. 81, N 1. – P. 1–76).

историком Юлией Обертрайс [Obertreis, 2017]. Первая посвящена ирригации в Туркестане 1880–1930-х годов, вторая – «хлопковой лихорадке», с 1880-х годов и до настоящего времени. Обе работы демонстрируют отчетливую преемственность между имперским и советским периодом. Их объединяла общая задача трансформации засушливых земель Средней Азии, имеющая свои параллели с подобными же схемами в соответствующих природных зонах Северной Африки, Австралии, Китая и американского Запада. В основе всех этих проектов лежало общее для эпохи модерности признание могущества науки и технологий как главного двигателя на пути к прогрессу и цивилизации. Благодаря этим взглядам покорение природы в XX в. достигло невиданных масштабов, и ландшафт Средней Азии до сих пор несет на себе печать «колониального эксперимента» [Peterson, 2019, p. 3].

Как пишет Ю. Обертрайс, завоевание имело свою цену, которую следовало возместить. Наиболее очевидным способом в экономической ситуации того времени стало выращивание хлопка в Туркестане. После того как в результате Гражданской войны в США его экспорт в Россию был прерван, в правительственных кругах возникла идея «хлопковой независимости», которую стали продвигать и чиновники, и предприниматели. Для достижения этой цели требовалось, с одной стороны, осуществить орошение больших засушливых площадей, с другой – построить сеть железных дорог, проектировать которую начали в 1870-е годы. Немалую роль здесь (как и в самом продвижении России в Среднюю Азию) исследователи отводят Большой игре – борьбе с Великобританией за влияние в регионе.

Строительство первой железной дороги началось в 1880 г. и имело прежде всего военные цели: обеспечить подвоз войск и всего необходимого для окончательного завоевания Туркестана. Линия вела от Красноводска к Амударье через пески, к 1888 г. достигла Самарканда, а в 1899 г. – Андижана, обеспечив прямую транспортную связь с оазисами Ферганской долины. Получив название Транскаспийской, эта железная дорога быстро стала служить гражданским целям. Помимо облегчения продвижения в регион «мирного населения», в том числе переселенцев, она позволила начать массированный ввоз пшеницы из России и вывоз хлопка из Азии, что способствовало экономическому развитию региона и дальнейшему расширению железнодорожной сети. К началу Первой мировой войны Средняя Азия была уже тесно связана с Прикаспийским регионом и Южным Уралом [Obertreis, 2017].

Медленное, по сегодняшним меркам, прокладывание линий определялось крайне тяжелыми условиями: казалось, сама природа была против строителей. Главную проблему представлял климат: температура могла колебаться от +45 градусов днем до нуля ночью. Воду приходилось привозить или опреснять, провиант и все необходимые товары, включая строительные материалы, – доставлять из России. Рабочие болели малярией, лейшманиозом и другими паразитарными болезнями. Настоящим бедствием были скорпионы и тарантулы, а термиты быстро разъедали деревянные части конструкций, в том числе и телеграфные столбы. От жары доставляемые из России доски коробились, а единственным доступным местным материалом был, как на линии, прокладывавшейся в конце 1890-х годов из Мерва к Кушке, до границы с Афганистаном, камень. Строилась эта линия военными подразделениями и персидскими рабочими, которых нанимали только на три месяца – дольше выдержать тяжелейший физический труд в таких условиях было невозможно [Keating, 2022, p. 38].

Инженеры, помимо всего прочего, работали в ситуации неопределенности, поскольку топографические карты часто не соответствовали действительности, а негостеприимная природа, особенно в пустыне, регулярно ставила перед ними сложные задачи и требовала нетривиальных решений. Например, как построить мост через Амударью, которая ежегодно разливалась на несколько километров и славилась непредсказуемостью, постоянно меняя свое русло. Инженерное решение для постройки постоянного моста из металлоконструкций было найдено только в 1901 г.

При прокладывании Транскаспийской железной дороги от Красноводска перед инженерами встала проблема песчаных заносов. Предлагались разные варианты: там, где линия проходила через барханы высотой несколько метров, убрать их либо поднять железнодорожное полотно; держать круглосуточные бригады, которые расчищали бы пути. В итоге было решено стабилизировать пески, создав лесозащитные полосы из местной флоры. Это было непросто, поскольку требовались постоянный уход, расчистка и подсаживание новых растений вместо погибших (в 1901 г. от града погибло 2,5 млн саженцев в питомниках), но оказалось эффективно. И когда в 1911 г. знаменитый фотограф Прокудин-Горский проехал по этой железной дороге, он имел возможность запечатлеть «озеленение пустыни». Кардинальное изменение ландшафта читалось тогда как свидетельство победы России в «борьбе с природой» [Keating, 2022, p. 42].

Необходимо отметить, что осязаемые признаки достижений стали заметны только через несколько десятилетий русского присутствия в Туркестане. Авторы фиксируют постепенное нарастание интенсивности в эксплуатации территорий и форсированный переход к «европейским технологиям» в начале XX в., когда и государство, и бизнес активно вовлеклись в этот процесс. К этому времени стало, в частности, очевидно, что железные дороги не справляются с обеспечением перевозок и должны быть дополнены водными транспортными путями.

В 1880–1890-е годы освоение Туркестана производилось силами главным образом крестьянства, местного и пришлого из России, занятого и в выращивании хлопка, и в строительстве, в том числе ирригационных сооружений. Эксплуатация водных ресурсов долго осуществлялась «по старинке». Даже в 1910-е годы сельское хозяйство Ферганской долины все еще зависело от древней оросительной сети.

Русские чиновники высоко оценивали местную сеть арыков, дамб и шлюзов, а также сложившуюся в XVIII–XIX вв. в Кокандском ханстве систему управления водоснабжением и безупречную работу «туземных специалистов» по ее обслуживанию. Характерно, что большинство чиновников ничего не понимали в этом вопросе, считая «древние» технологии и практики орошения слишком сложными и до поры до времени оставляя их нетронутыми [Obertreis, 2017]. Однако, при всем признании ценности традиционной системы, и русская администрация, и инженеры исходили из превосходства европейской науки, которая способна сильно повысить эффективность как в интересах местного населения Туркестана, так и с целью извлечения прибыли из новой колонии [Peterson, 2019, p. 133].

Для конца XIX в. характерен подход к «улучшению земли», практиковавшийся с 1840-х годов Министерством государственных имуществ. Просвещение аграриев, организация сельскохозяйственных обществ и училищ, создание образцовых хозяйств, которые послужили бы примером для всей округи, – эти методы распространились и на Туркестан. В частности, заложенное в 1887 г. в Мервском оазисе Мургабское государево имение постепенно превратилось в сложно организованное экономическое предприятие, с развитой системой орошения европейского образца, с виноградниками и миндальными плантациями, фруктовым садом и парком, со своим хлопковым заводом, городком для служащих и клубом с театральным залом.

Альтернативный, на первый взгляд, имперскому проекту и кажущийся «типично русским» подход рассматривается в книге Майи Петерсон. Целую главу она посвящает деятельности вел. кн. Николая Константиновича Романова (1850–1918) – фигуры крайне противоречивой и эксцентричной, военного, путешественника и авантюриста, изгнанного из императорской фамилии, визионера и более чем успешного предпринимателя, наделенного литературным и прочими дарованиями. Память о нем до сих пор сохраняется не только в Ташкенте, который он благоустроивал в течение десятилетий, но и в Голодной степи, где великий князь осуществил ирригацию 40 тыс. десятин земли. Он создал там «свое королевство», «гармоничный русско-азиатский мир», существовавший параллельно, как считает автор, с официальной Россией. Несмотря на опалу, Николай Константинович, официально признанный сумасшедшим, был самостоятелен в своих действиях и пользовался большим уважением и чиновников, и местного общества. В этом контексте автор характеризует два направления его многогранной деятельности – ирригацию и колонизацию, которые фактически представляли собой главные инструменты государства по установлению контроля над Туркестаном [Peterson, 2019, p. 74–75].

На расположенных достаточно близко к Ташкенту территориях интересы правительства, обладавшего монополией на строительство оросительных сооружений, были сфокусированы прежде всего на плодородной Ферганской долине. А соседствующая с Ташкентом малонаселенная Голодная степь (южная ее часть, лежащая между оазисами Ташкента, Ферганы и Самарканда) не вызывала у военной администрации особого интереса. Там имелись следы древних каналов, что свидетельствовало о том, что когда-то степь не была «голодной», но в XIX в. на ее безводных пространствах с глинистыми и солончаковыми почвами кочевали небольшие группы казахов. Попытки генерал-губернатора Кауфмана построить там в 1874–1880 гг. первый в Туркестане канал, ведущий от р. Чирчик к Ташкенту, окончились провалом [Peterson, 2019, p. 64, 75].

Во многом благодаря этим обстоятельствам Николай Константинович имел возможность фактически бесконтрольно реализовать ряд крупных проектов. Кроме того, он делал это за свои деньги, что также являлось весомым аргументом. В любом случае до поры до времени чиновники мирились с эмоциональными взрывами и эксцентричным поведением великого князя, не говоря уже о сомнительной законности его решений и действий его помощников [Peterson, 2019, p. 75].

В 1883–1885 гг. Николай Константинович построил первый действующий канал на правом берегу р. Чирчик, длиной 54 км, что казалось тогда почти победой [Pravilova, 2009, p. 271]. Получивший название Искандер-арык, канал вскоре был выкуплен казной. На его берегу были возведены одноименное имение великого князя и поселок, строились мосты и плотины. Другой построенный им крупный канал был назван в честь Николая I. Николай Константинович действовал по одной модели: строились все новые арыки, вдоль их берегов создавались поселки, которые передавались в казну.

Как пишет М. Петерсон, уважение великого князя к местным обычаям помнится до сегодняшнего дня (и подтверждается архивными источниками). Он предпочитал носить халат, интересовался исламской религией и знал несколько простых молитв на арабском, но главное – уважал «местное знание», советовался с теми, кто занимался орошением, и строил арыки в соответствии с традиционными технологиями. При этом его взгляды были вполне ориенталистскими: он, в частности, разделял общеевропейское убеждение, что кочевники должны стать оседлыми. Однако в отличие от многих Николай Константинович стремился узнать о Туркестане как можно больше и использовать это знание в благих целях, пытаясь преодолеть пропасть между колонизаторами и колонизируемыми<sup>1</sup>. Его мысль о том, что коренные туркестанцы могут участвовать в российском проекте создания нового Туркестана, резко контрастировала с позицией большинства чиновников [Peterson, 2019, p. 75–76].

Обустривая Голодную степь, Николай Константинович действовал в соответствии со своим желанием «оживить пустыни», вернуть пришедшему в упадок Туркестану его прежнее цветущее состояние – но также и помочь правительству заселить этот потенциально богатый край, расширив границы оазисов, и сделать его одной из лучших русских областей. Это должна была быть «земля обетованная», мир, в котором азиатская и русская культуры перемешиваются и поселенцы с «туземцами» живут бок о бок [Peterson, 2019, p. 106–107]. Николай Константинович с гордостью сообщал о том, что на строительстве трудятся мусульмане (кокандцы, бухарцы, туркмены, узбеки, казахи, таджики, кашгары, сарты) бок о бок с поселенцами из Поволжья, Малороссии и Сибири, под присмотром

---

<sup>1</sup> К настоящему времени вышло немало работ, в которых показано, что отношения в нерусских регионах были намного сложнее, чем описывает модель колонизатора и колонизируемого [Peterson, 2019, p. 3].

отставных военных и уральских казаков. За работу они получали одинаково, и не так мало, к тому же великий князь любил периодически делать щедрые жесты. Неизвестно, сколько человек погибло на стройках, но условия были тяжелые: земляные работы, ручной труд, длинный рабочий день, жара летом и резкий холод зимой [Peterson, 2019, p. 91].

В его Голодной степи жизнь организовывалась вокруг «прочного стержня», состоящего из новых поселений, «маяков русской цивилизации» (Никольское, Романовское, Надеждинское и пр.) и сети арыков, которые для великого князя были воспоминанием о другом мире, древнем и романтическом, восточном мире тайн и легенд [Peterson, 2019, p. 113].

М. Петерсон пишет, что способность одновременно смотреть назад и вперед не является уникальной; скорее, это отличительный признак «эпохи ирригации». Николай Константинович никогда не отвергал европейскую науку и ее методы, так же как и европейскую цивилизацию, – так, он участвовал в проекте электрификации Ташкента и построил там первый кинотеатр. Одновременно он наслаждался ролью правителя степи, карая и милуя по своему желанию. По характеру он напоминал «хана былых времен» [Peterson, 2019, p. 107–108].

В каком-то смысле Николай Константинович выступал в качестве альтернативного источника власти в Туркестане, что, по мнению автора, свидетельствовало о слабости империи в этом регионе в первые десятилетия ее владычества [Peterson, 2019, p. 75]. Однако в начале нового века, когда правительство взялось за развитие Туркестана, уже не оставалось места для подобных фигур [Peterson, 2019, p. 77, 117].

В последние два десятилетия существования царского режима административные меры по «усовершенствованию» и «увеличению эффективности» приняли более систематический характер. Тем не менее и до этого момента наблюдались несомненные достижения. С 1887 по 1895 г. объем производства хлопка увеличился почти в пять раз. Строительство каждой новой линии железнодорожной сети означало появление все новых хлопковых плантаций. С 1887 по 1899 г. площади под хлопчатником в Туркестане, Бухаре и Хиве выросли с 61 тыс. десятин до 300 тыс., и в 1900 г. 36% всего потребляемого российской текстильной промышленностью хлопка поступало оттуда. 90% его было выращено на небольших наделах в пять десятин и менее. Рост продолжался головокружительными темпами, экспорт из Туркестана, составлявший менее 1 млн пудов

в 1888 г., вырос до 13 млн в показательном 1913 г. К этому времени среднеазиатский хлопок составил 50% потребляемого текстильной индустрией империи, и Фергана оставалась основным его производителем [Obertreis, 2017, p. 98–99]. Идея «хлопковой независимости» (cotton autonomy) постепенно воплощалась в жизнь.

Выращивание хлопка становилось все более прибыльным, и в 1910-е годы с ним связывали надежды на светлое экономическое будущее Туркестана. При всем скептицизме современников по отношению к «капиталистической экономике», они не могли не признать, что подъем хлопководства произошел все же благодаря ей. Развивалась местная обрабатывающая промышленность, появлялись все новые мелкие компании, занимавшиеся хлопкоочисткой и отжимом масла, росла сеть посредников и торговцев, возникал развитый рынок. При этом плантационное выращивание хлопчатника не принесло успеха, и небольшие семейные хозяйства оставались основной экономической единицей и все в большей степени становились товарными [Obertreis, 2017, p. 101–102].

Заслугой администрации является прежде всего распространение семян американского хлопка в Туркестане. По сравнению с американским средневолокнистым и египетским длиноволокнистым хлопком местные коротковолокнистые сорта низко ценились на международных рынках. Они не годились для машинного прядения. Еще при Кауфмане началась бесплатная раздача семян, однако процесс отбора нужных сортов и их акклиматизации занял не один десяток лет. Большую роль в развитии агротехники хлопчатника сыграло Главное управление земледелия и государственных имуществ в Туркестанском крае, созданное при Министерстве земледелия в 1897 г., которое среди прочего занималось организацией опытных полей и семенных станций, селекционной работой и т.д. [Obertreis, 2017, p. 114–116]. Селекционная работа по выведению новых сортов хлопка принесла свои результаты уже в советское время.

В 1903 г. Министерство земледелия учредило конференции хлопководов, которые продолжили свою работу после революции. Активную роль в научной деятельности играло Туркестанское сельскохозяйственное общество, сумевшее объединить общественность вокруг проблем аграрного развития. На конференциях все громче звучала критика взятого курса на выращивание хлопка как монокультуры. Говорилось о том, что это истощает почву, но высказывались и другие аргументы, в том числе о низведении Туркестана до уровня «русской колонии» [Obertreis, 2017, p. 124]. Предпринимались и первые попытки кооперации, прерванные войной и возобновившиеся в 1920-е годы.

Отдел земельных улучшений Министерства земледелия начал обширные исследования в сферах ирригации и мелиорации, и в 1910-е годы местная система орошения начала переходить в руки русских специалистов. Ирригация теперь получила два направления деятельности: орошение полей и «укрощение рек», которые имели свойство менять свое русло и выходить из берегов, сметая все на своем пути. Гордостью министерства стала реализация, после ряда неудач, проекта строительства дамб, водоемов и плотин на р. Мургаб. Проект подавался как чудо инженерного искусства, как торжество современных технологий, которые заковали «ревущую горную реку» в металл и камень. Другим триумфом было открытие в 1913 г. Романовского канала в Голодной степи. Русские инженеры, работавшие над этим проектом, командировались в Индию и Египет, где знакомились с новейшими приемами и конструкторскими решениями [Oberreis, 2017, p. 125–127]. Однако возведение ирригационных сооружений было куда сложнее, чем строительство железнодорожных линий, и многие проекты оканчивались неудачей, что на практике часто означало обрушение и затопление.

Другой проблемой, связанной с орошением, было засоление почв, особенно ярко проявившееся в Голодной степи. Вода просачивалась сквозь стенки арыков, уровень грунтовых вод поднимался, происходило заболачивание. Министерство не обращало на это особого внимания, однако хлопчатник, в отличие от риса, не мог расти на засоленных почвах. Основной продукт питания местного населения, – рис – как влагоемкая культура являлся очевидным конкурентом хлопка на орошенных территориях, поскольку не боялся засоления. Политику ограничения выращивания риса в пользу хлопка проводили еще ханы Коканда и эмиры Бухары, но при русских ограничения первоначально были сняты. Последующие попытки ограничить его выращивание (или перенести из оазисов на засушливые территории Голодной степи) объяснялись в том числе соображениями гигиены и здоровья, как это делалось и другими колониальными державами. Считалось, что в густонаселенных районах залитые водой рисовые поля «отравляют воздух», заболачивают почвы, а главное – способствуют распространению малярии [Peterson, 2019, p. 159–160].

И хотя довольно быстро было доказано обратное, и несмотря на ширившуюся критику поощрения монокультуры хлопчатника, курс на достижение хлопковой независимости продолжился. Немалую роль в этом играла активизация переселенческой политики, в том числе концепция «нового Туркестана» главноуправляющего

землеустройством и земледелием А.В. Кривошеина. В его формулировке она звучала как «хлопок плюс орошение плюс колонизация», что должно было составить противовес старому, мусульманскому Туркестану. Сравнивая ситуацию в России и Америке, Кривошеин подчеркивал, что «у них» это имеет только экономическое значение, в то время как «у нас» – еще и политическое [Peterson, 2019, p. 157].

В отличие от риса, пшеница являлась главным продуктом питания для славянских поселенцев, количество которых в 1910-е годы стало, усилиями Главного управления землеустройства и земледелия (ГУЗЗ), ощутимо нарастать. К 1910 г. Туркестан уже серьезно зависел от импорта продуктов и зерна из России, а расширение посевных площадей под хлопчатник за счет зерновых продолжалось [Obertreis, 2017, p. 99].

Начавшаяся Первая мировая война, с одной стороны, вызвала «хлопковый кризис», с другой – усилила противоречия, вызванные агрессивной переселенческой политикой предыдущих лет. Туркестанское восстание 1916 г. явилось серьезным дестабилизирующим фактором для Российской империи, запустив процесс ее распада.

Однако с приходом советской власти в Среднюю Азию общий курс, взятый царским правительством, никуда не исчез. Ю. Обертрайс не без оснований подчеркивает преемственность в политических идеях и дискурсах. Поставленная в 1890-е годы задача достичь «хлопковой независимости» была немедленно принята большевиками и реализована в 1930-е. Идея о том, что реки должны служить человеку, и в особенности нуждам сельского хозяйства, выдвинутая в 1880-е, была популярна и в 1960-е. Засоление и усыхание Аральского моря предвидели еще в 1880-е годы – и уже тогда были готовы принести его в жертву, до полного исчезновения, краткосрочным экономическим целям [Obertreis, 2017, p. 471].

Столь очевидная преемственность и в идеях, и в планах, и в их реализации побуждает Ю. Обертрайс говорить о том, что колониальная царская империя достаточно плавно перешла в советскую. Более осторожна М. Петерсон, которая приводит ряд авторитетных мнений и дает более нюансированную картину. С одной стороны, империя, согласно известному определению Дж. Бербанк и Ф. Купера, характеризуется «политикой различий», для которой важна лояльность, а не гомогенность (единообразие) ее подданных. И потому разные ее территории живут в соответствии со своими законами и обычаями, как это и было в Туркестане – и прекратилось в СССР. Другие авторы выдвигают в качестве критерия характер правления – «вертикаль власти» и практики доминирования, насильственные

по своему существу. Однако для инвайронменталистских исследований преемственность играет основополагающую роль, в том числе заставляет внимательнее присматриваться к природе режима, который в 1917–1930 гг. очевидно «завис» между революцией и империей. Средняя Азия в этот период продолжала оставаться «отсталой» колонией, существенно изменившись в 1930-е годы. На этом времени Петерсон и заканчивает свое повествование, хотя практики колониального правления в экономике (монокультура хлопчатника, поощрение колонизации) сохранились, многие инфраструктурные проекты реализовались в последующие годы, а их экологические результаты (как, например, катастрофа с Аральским морем)<sup>1</sup> обнаружили себя в полной мере только на закате социализма [Peterson, 2019, p. 7–8].

Подводя итоги, необходимо обратиться к проблеме соотношения традиционного и научного знания в практиках управления империей. Е. Правилова, сосредоточившая свое внимание на неуспешных проектах по строительству каналов, считает опору на местные технологии причиной провала политики Российской империи, особенно по сравнению с Британской и Французской [Pravilova, 2009, p. 259]. Однако, как показывают дальнейшие исследования, опора на местные технологии была в немалой степени вынужденной.

Во-первых, она вписывалась в общий контур политики империи, сохранявшей обычное право как для русского крестьянства, так и для жителей Туркестана и старавшейся не вторгаться там в религиозные вопросы и даже «не замечать» ислам (политика «игнорирования ислама»). Во-вторых, правительство было довольно ограничено в своих финансах и не могло, как отмечает Ю. Обертрайс, инвестировать в крупные проекты конца XIX – начала XX в. В то же время набравший к этому времени силу крупный бизнес, который желал взять экономическое развитие в свои руки, вызывал неприязнь в правительстве, не расположенном к поощрению «капитала», и встречал противодействие общества. Антикапиталистические настроения особенно ярко проявлялись в начале XX в., причем как в крайне левых, так и в правых кругах. В-третьих, так и не были решены правовые вопросы, касавшиеся землепользования и нало-

---

<sup>1</sup> До начала активного обмеления в 1960-е годы, вызванного бездумной ирригацией, Аральское море являлось четвертым по размеру озером в мире. К началу нового тысячелетия его площадь сократилась более чем в четыре раза, объем воды – в 10 раз, на его высохшем дне образовались солончаковые пустыни. Аральская катастрофа вызывает глубокую озабоченность экологов.

гообложения. Государство, с одной стороны, было против частной собственности на землю в Туркестане, отдавая предпочтение, по закону 1886 г., бессрочному землепользованию. С другой стороны, обычное право, на котором зиждились как землепользование, так и распределение воды, сильно усложняло дело и связывало государству руки. Весьма сложная традиционная система пользования водой настоятельно требовала регулирования, однако закон, устанавливающий монополию государства на водные ресурсы, был принят только в 1916 г.

Наконец, не стоит забывать, что большинство проектов, в особенности по «повороту рек», были по существу «визионерскими» (не зря в названиях книг М. Петерсон и Ю. Обертрейс присутствует слово «мечты»). Так, проекты инженера Глуховского и вел. кн. Николая Константиновича, предлагавшие перенаправить течение Амударьи из Аральского моря в Каспийское (что в итоге соединило бы водными путями Среднюю Азию с Волгой, т.е. с центром России), были частично реализованы столетие спустя. В 1950-е годы был построен Каракумский канал – «новая версия» старого проекта, – превративший большую часть Туркменской ССР в «Амударьинскую Среднюю Азию», соединивший ее водными путями с севером Ирана и северо-востоком Афганистана. Советские инженеры хотели продлить канал до берегов Каспия, и в постсоветское время туркменское правительство все еще рассматривает такие перспективы.

## СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

«Завоевать пространство и простор» – эти слова из «Марша авиаторов», написанного в 1923 г. и переведенного затем на немецкий, символизировали устремления 1920–1930-х годов. Чудеса техники демонстрировали возможности человека подчинять и переделывать природу, а авиаторы, покорявшие небеса, бросали вызов самому Богу [Draskoczy, 2014, p. 31]. На земле с не меньшим энтузиазмом прокладывалась дорога к светлому будущему: строились железнодорожные магистрали, каналы и электростанции, заводы и фабрики, росли новые города. При всей вере в современные технологии, завоевание осуществлялось в основном ручным способом, и «непокорная», «упрямая», «веками упитанная» земля стала главной целью «штурма» для советской модернизации. В фильме В. Турина по сценарию В. Шкловского «Турксиб» (1929) хорошо показано, как железнодорожные рабочие идут «в атаку на упрямую землю», олицетворяющую для них груз прошлого<sup>1</sup>. В революционном обществе следовало осуществить не только материальную трансформацию земли, но и символическую, т.е. ретерриториализацию [Egley, 2021, p. 70].

Термин «ретерриториализация», введенный в научный оборот Ж. Делёзом и Ф. Гваттари, подразумевает символическое присвоение территории новой властью, которая создает на ней свои памятные места, устанавливает ритуалы и т.д. Большую роль в этом процессе

---

<sup>1</sup> О строительстве Турксиба см.: Payne M.J. Stalin's railroad: Turksib and the building of socialism. – Pittsburgh : Pittsburgh univ. press, 2001.

играет, как правило, пропаганда. В первые годы советской власти на создание новых символов был брошен огромный творческий потенциал, накопившийся в Российской империи в Серебряном веке. Достаточно вспомнить ленинский план монументальной пропаганды 1918 г. и организацию массовых революционных праздников – театрализованных действ, создававшихся силами лучших режиссеров, художников и музыкантов. Однако стройки первых пятилеток декором не ограничивались: они радикально переделывали сам ландшафт, превращая его в «советское» пространство.

Для экоисториков большое значение имеет тезис о том, что отношения человека с природой и пространством сильно политизированы. В том, как государство позиционирует себя в ландшафте, проявляется не только его самоощущение, но также и образ, который оно стремится создать. Безусловно, новый ландшафт сохраняет в себе многие черты прежнего, да и природа существует в общем-то вне зависимости от контролирующего ее политического режима. Тем не менее можно проследить, как конкретная идеологическая система переформатирует и переопределяет ландшафт, чтобы он отражал ее ценности и приоритеты. Однако при этом необходимо учитывать, что ландшафт также оказывает свое воздействие на тех, кто пытается его переделать (хотя далеко не всегда это взаимодействие находится в состоянии равновесия). В этом теоретическом контексте рассматривает историю канала имени Москвы американская исследовательница Синтия Рудер [Ruder, 2018]. В центре ее внимания – пространство, созданное как физическим наличием этого многокилометрового сооружения, так и идеологией, которую оно овеществляло.

Тема не нова для автора – ее перу принадлежит серьезная работа о строительстве Беломорско-Балтийского канала, изданная двадцатью годами ранее<sup>1</sup>. Однако в ней основное внимание было уделено литературной продукции, созданной в связи с этим масштабным проектом и по его следам, – в частности, монографии «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства. 1931–1934 гг.»<sup>2</sup>. Автор прослеживает фактическую историю

---

<sup>1</sup> Ruder C. Making history for Stalin: The story of the Belomor Canal. – Gainesville, FL : University press of Florida, 1998.

<sup>2</sup> Написанная под общим руководством М. Горького коллективом из 36 известных авторов, посетивших канал, и изданная в авральном порядке в 1934 г., через три года книга была изъята из обращения и уничтожена. Были расстреляны или отправлены в лагеря многие ее герои и авторы, так же как и многие депутаты XVII съезда партии, которые получили подарочные экземпляры этой книги.

строительства Беломорканала, сопоставляя ее с текстами, ставшими образчиком социалистического реализма, чтобы выявить механизмы сталинской культуры. В книге показано, что на этой стройке пятилетки, где впервые был использован в качестве рабочей силы исключительно труд заключенных, была воплощена в жизнь философия «перековки» – идея о том, что новый советский человек может быть создан путем продуктивного принудительного труда.

Экоисторики отмечают, что трансформация природы и создание нового советского человека понимались в раннем СССР как единый, целостный проект. Социалистический созидательный труд (причем именно тяжелый физический труд, как подчеркивал тогда Горький) порождал стихийную энергию, которая направлялась как на преобразование «неподатливого» ландшафта – «инертного материального тела нации», – так и на «перековку» политически и психологически косного человека, трансформируя таким образом человеческую природу [Egley, 2021, p. 73–74].

Канал имени Москвы представляет в данном случае прекрасный объект для изучения, поскольку физически воплощает (и делает видимыми) многие элементы идеологии сталинизма. По словам С. Рудер, сталинизм как система, как идеология и как отдельный исторический период представляет собой крайне многогранное и изменчивое явление, в основе которого при этом лежали незыблемые идеи. Главной целью являлось построение (риторическое, политическое, социальное и культурное) социалистического государства, которое станет более великим, чем любое капиталистическое. Установки и методы достижения цели включали в себя первенство государства в управлении и политике; наличие всё и вся контролирующего центра, воплощенного в фигуре сильного лидера; использование любых средств для контроля над гражданами и устранения врагов. Поскольку овладение пространством, покорение природы и их всеобъемлющая советизация входили в число самых распространенных тропов эпохи, рассмотрение крупных строительных объектов представляется весьма плодотворным [Ruder, 2018, p. 11]<sup>1</sup>.

Заявленной целью строительства канала Москва – Волга являлось превращение Москвы в «порт пяти морей», что резко повышало статус столицы огромной страны, одновременно решая назревшую проблему снабжения города водой. Идея связать

---

<sup>1</sup> Отмечается, что тропы борьбы с природой и господства над ней человека можно найти в классическом тексте К. Маркса «Капитал» [Draskoczy, 2014, p. 172].

Москву-реку с Волгой давно витала в воздухе, и этот проект был в равной степени метафорическим и практическим: «Канал принес к ступеням Кремля не только волжские воды, но и весь мир, неизбежно изменив представление жителей столицы об их месте в глобальном контексте» [Ruder, 2018, p. 4]. При этом неважно, что по окончании стройки Москва стала портом только трех морей – Каспийского, Белого и Балтийского – и соединение с Азовским и Черным морями произошло после возведения Волго-Донского канала в 1952 г. Важнее было воображаемое пространство, и в данном случае канал Москва – Волга имени Сталина, который называли тогда «каналом победителей», на практике демонстрировал применение метода социалистического реализма, показывающего жизнь такой, какой она должна быть [Ruder, 2018, p. 32].

Наиболее важным элементом идеологии сталинизма, проявившимся при строительстве канала, С. Рудер считает организацию Дмитровского исправительно-трудового лагеря, Дмитлага (1932–1938), одного из крупнейших лагерных объединений. Стройка была включена во второй пятилетний план 1933–1937 гг., и, как и на Беломорканале, предполагала трудовой подвиг заключенных с минимумом механизации, максимумом эксплуатации местных ресурсов и жестко ограниченным финансированием.

Численность заключенных в Дмитлаге достигала в 1935–1936 гг. 200 тыс. человек. По разным подсчетам, за время строительства через него прошло от 800 тыс. до 2,5 млн человек. Центральный лагерь, где проживала администрация, находился в г. Дмитрове, а вдоль трассы строящегося канала было организовано почти 70 небольших поселений – лагпунктов. Цепочка тянулась с севера, где канал должен был соединиться с Волгой, на юг, через территорию Москвы, от Тушино до Перервинской плотины (тогда это было дальше предместье столицы). Шлюзы № 7–11 находились в городской черте. Дмитлаг был единственным лагерем, которому было разрешено действовать в пределах столицы, однако в 1935 г. туда запретили направлять осужденных по 58-й политической статье, а также уроженцев Москвы и области [Ruder, 2018, p. 63].

С октября 1932 г. стройка перешла из ведения Москанала к ОГПУ / НКВД, к осени 1933 г. окончательно определились руководители – начальник строительства Л.И. Коган (до 1936 г., затем – М.Д. Берман), главный инженер С.Я. Жук, руководитель Дмитлага С.Г. Фирин. Предполагалось закончить работы за год, но сроки все время отодвигались, в том числе из-за погодных условий, и в итоге

окончательной датой стало 20 июля 1937 г., когда лагерь, по распоряжению Ежова, должен был закрыться. 1 мая 1937 г., сразу после того, как по каналу с Волги прошла первая флотилия судов, начались аресты, а в августе – массовые расстрелы руководства Дмитлага и заключенных. При этом начиная с мая было досрочно освобождено 55 тыс. человек.

Автор останавливается на условиях жизни в лагере, где ударный труд поощрялся увеличением хлебного пайка на 100 г, а отлынивание от работы, в том числе симуляция болезни, стало считаться преступлением. Отдельную проблему составляли побег, что было особенно недопустимым в столичном регионе.

Работы проводились вручную, на рытье котлованов и возведении плотин основными орудиями труда были тачка, кирка и лопата. Только на последнем этапе начала достаточно активно использоваться техника (главным образом первые советские экскаваторы «Ковровец»), однако условия по-прежнему оставались тяжелейшими, в том числе из-за скудного снабжения. Даже по официальным данным, предоставленным больницами, за период строительства умерли 22 842 человека. Данные не учитывают, в частности, тех, кто умер во время работы и был похоронен здесь же, на берегу. Во время земляных работ там до сих пор обнаруживаются массовые захоронения [Ruder, 2018, p. 72].

Тем не менее, пишет автор, картина ужасающих условий труда, человеческих страданий и деградации должна быть дополнена свидетельствами активной культурной жизни. Центральной фигурой в осуществлении «культурной программы» в Дмитлаге был С.Г. Фирин, до этого руководивший Беломорканалом и собравший вокруг себя группу профессиональных писателей, в том числе и из среды заключенных. «Культурная программа», называемая «перековкой», позволяла развивать артистические и художественные таланты, вести борьбу с неграмотностью, создавать спортивные секции, а ее участники могли избежать тяжелой физической работы. Процесс перековки, направляемый и контролируемый культурно-воспитательным отделом (КВО), не касался тех, кто сидел по политической статье и перевоспитанию, как считалось, не подлежал.

В Дмитлаге выпускались газеты (главная – «Перековка») и журнал «На штурм трассы», а также серия брошюр «Библиотека перековки», печатавшихся довольно большими тиражами от 3 тыс. экз. «для внутреннего пользования». Культурная продукция Дмитлага представляет собой особую ценность в свете того, что основными источниками по истории ГУЛАГА всегда служили тексты,

написанные политзаключенными [Ruder, 2018, p. 8]. Здесь же мы имеем дело с «социально вредными» и при этом «социально близкими» уголовными элементами, поскольку они являлись основным целевым сегментом для перековки. Большинство авторов – «тридцатипятники», т.е. осужденные по 35-й статье за мелкие уголовные преступления и даже за проституцию. В произведениях «каналармейцев» – рассказах и очерках, стихах и поэмах, песнях и маршах, так же как и на многочисленных нарисованных ими плакатах и постерах, – просматривается позиция людей, которые полностью принимают существующую ситуацию, играют по правилам и намерены во что бы то ни стало продолжить свою жизнь, найти свою любовь, наконец, самореализоваться.

Их тексты, в которых использовались те же тропы, лозунги и формулировки, что и в официальном дискурсе, с одной стороны, прославляли стройку, с другой – ее документировали [Ruder, 2018, p. 84]. Литературная, изобразительная и музыкальная продукция Дмитлага производит неоднозначное впечатление, особенно если знать судьбы некоторых авторов – например, поэтессы Лидии Могилянской, осужденной в 1929 г. по статье 58-8, еще с Беломорканала работавшей с Фириным и расстрелянной в июне 1937 г. как член его «террористической группы» [Ruder, 2018, p. 98]. Но в любом случае в качестве исторического источника эти произведения могут соперничать с принятыми за эталон текстами политзаключенных.

Особый интерес представляет рукопись, подготовленная к печати до репрессий 1937 г., но так и не увидевшая свет. Том должен был стать продолжением издания «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства. 1931–1934 гг.». Панегирик строительству, избилующий художественными работами заключенных, в том числе портретами Сталина, он был отправлен на полки архива, где и обнаружен в 2004 г.

Участие в культурной программе Дмитлага не гарантировало сохранения жизни, но давало возможность высказаться. Рудер обращает внимание на крайне разнообразный состав участников, отражавший многонациональный характер СССР. Публиковались очерки, рассказы и сказки, стихи на татарском, узбекском, казахском, даже цыганском языках с переводом на русский. Конечно, эти публикации, разной степени таланта и мастерства, не отражали реальную лагерную жизнь, они скорее «информировали своего читателя о том, что происходит в стране и в лагере, а также увещевали его и поддерживали». Далеко не всем посчастливилось служить в КВО, большинство же заключенных «толкали тачки,

управляли экскаваторами, перекапывали щебень, песок и глину лопатами и кирками» [Ruder, 2018, p. 107]. Существование Дмитлага, пишет С. Рудер, свидетельствует о том, что пространство, ставшее известным с 1947 г. как «канал имени Москвы», являлось примером установления контроля не только над природой, но и над человеком. Фактически, по ее словам, «советское пространство» строил ГУЛАГ, что и делало это пространство в наибольшей степени «советским» [Ruder, 2018, p. 10].

В то время как строительство гидроэлектростанций во второй половине 1930-х годов на Верхней Волге (Угличской и Рыбинской) опиралось исключительно на труд заключенных, при прокладке Вахшского канала в Таджикистане он использовался в относительно небольших масштабах и на самых тяжелых работах. Здесь, в отличие от центра страны, идеологическое содержание стройки социализма было дополнено другими составляющими и включало в себя «цивилизаторскую миссию», выступавшую в облике «культурной революции». Речь шла о том, чтобы не просто «цивилизовать» местное население самой отсталой окраины, но и превратить азиатского крестьянина в строителя социализма. Следовало совершить прыжок из феодализма в социализм, и согласно планам правительства Вахшская долина из «каменистой пустыни» должна была превратиться в «хлопковый рай», стать образцовым «современным» оазисом, где в коллективных хозяйствах выращивается египетский длиноволокнистый хлопок, что являлось бы примером для местного населения – но не только. Строившийся на границе с Афганистаном канал выполнял функцию «витрины социализма», которая должна была продемонстрировать угнетенным трудящимся Востока (в том числе Индии) все преимущества СССР и таким образом работала на «экспорт революции» [Peterson, 2019, p. 284–285, 287].

Несмотря на предупреждения экономистов о неоправданности затрат на строительство в районе, где отсутствовала инфраструктура, проект был запущен. Как и другие ударные объекты первых пятилеток – Днепрострой, призванный не только обеспечить электроэнергией металлургию Украины, но и улучшить орошение украинских степей и расширить транспортные связи, или Магнитогорск, – Вахшстрой возводили с полным пренебрежением к местным условиям, не считаясь с мнением специалистов-проектировщиков. Большую роль здесь играли всем известная любовь Сталина к каналам и желание партийных лидеров максимально быстро осуществить грандиозные проекты, каких еще не видел мир [Peterson, 2019, p. 283].

Проблема перековки на Вахшстрое, где строительство осуществлялось силами наемных рабочих, выглядела иначе, хотя мобилизация населения страны (учитывая всесоюзный статус стройки) обеспечивалась теми же инструментами пропаганды и велась с не меньшим размахом, чем в случае с Беломорканалом и каналом Москва – Волга. Точно так же туда привозились «литературные бригады» писателей и журналистов, причем с широким иностранным участием, и точно так же ОГПУ с помощью местной администрации использовало технологию «потемкинских деревень» [Peterson, 2019, p. 287–288]. Аналогично и литературные произведения, написанные по итогам поездки, изображали борьбу человека с природой и с самим собой.

В получившем широкую популярность романе Бруно Ясенского «Человек меняет кожу» о Вахшстрое земля, вода и камень – участники действия. Они придают экспрессию произведению нового тогда жанра производственного романа (с элементами детектива) и выступают удачной метафорой для изображения борьбы нового и старого. Если раньше из года в год дехкане носили корзинами землю, чтобы укрепить берега, размываемые низвергающейся с горных ледников водой, то теперь советская власть решила взять под контроль эту «динамическую силу». Гранит и бетон позволяют укротить непокорную стихию воды и, как пишет М. Эрли, анализируя произведения советских писателей того времени, превратить строящийся социализм в «монолит» [Erley, 2021, p. 79, 87]. На постройке Беломорканала люди боролись со скалами, болотом и рекой, и вода описывалась как «враг», хитрый и опасный. Результатом этой борьбы должна была стать полностью новая, порабощенная и рационально организованная физическая среда [Draskoczy, 2014, p. 171].

Символическая роль воды и ее место в истории России получили определенное рассмотрение в зарубежной русистике, в частности в сборнике, посвященном исследованиям воды как культурного и одновременно географического феномена [Meanings and values of water..., 2017]. В популярной по своему характеру, но при этом чрезвычайно насыщенной фактическим материалом книге Дж. Хартли река Волга является организующим центром, вокруг которого выстраивается повествование об истории Российской империи и СССР [Hartley, 2021].

Концепты воды и речных путей использовались в СССР для создания физического и риторического пространства, при одном их упоминании возникают образы новой топографии, создававшейся сталинизмом, пишет С. Рудер [Ruder, 2018, p. 19]. Способность

путем реализации масштабных инфраструктурных проектов изменять географическую карту и саму окружающую среду являлась для СССР источником гордости, поскольку давала ощутимые, видимые свидетельства социалистического прогресса. «Даже география меняется», говорил Горький по поводу Беломорканала [Draskoczy, 2014, p. 171].

Повод для гордости несомненно был, поскольку для постройки канала государство всегда должно мобилизовать значительные финансовые ресурсы, решить серьезные инженерные и проектные задачи, обеспечить рабочую силу и дорогую тяжелую технику. Любое государство, которому удастся реализовать проект такого рода, одерживает идеологическую победу, поскольку все гидротехнические сооружения – шлюзы, плотины, дамбы, водохранилища, насосные и контрольные станции – «источают власть самим фактом своего наличия», пишет С. Рудер [Ruder, 2018, p. 27].

Большое место в ее книге отводится перемещению русла Волги и созданию Иваньковского водохранилища, которое называли Московским морем. Волжский узел стал первым элементом канала, самой амбициозной его частью – на нем была завязана вся идея проекта. Он должен был улучшить возможности навигации в верховьях Волги от Твери (Калинина) вниз по течению, обеспечить Москву достаточным количеством воды и, благодаря постройке Иваньковской ГЭС, дать электроэнергию и столице, и окрестным населенным пунктам. Автор достаточно подробно описывает процесс проектирования и строительства Волжского узла, высокий профессионализм и изобретательность советских инженеров, ударный труд и смекалку каналоармейцев. Она уделяет внимание не только тому, что было создано, но и тому, что разрушили, – главным образом городкам и деревням, которые затопили водами нового моря. И буквально, и метафорически, пишет С. Рудер, «старая Россия была затоплена, чтобы из воды могло подняться новое советское государство» [Ruder, 2018, p. 51].

Чтобы понять масштабы гидротехнического комплекса канала Москва – Волга, так же как и его влияние на ландшафт, следует перечислить объекты, построенные в ходе сооружения 128-километровой трассы, глубина которой варьирует от гарантированных 5,5 м до 23 м. Семь земляных и три бетонных плотины с соответствующим количеством водохранилищ разной площади и объема; 11 гидроузлов, включающих в себя шлюзы и насосные станции; семь гидроэлектростанций, в том числе малых, которые благодаря перепаду уровней воды вырабатывают электроэнергию; водосбро-

сы; более сотни заградворот, позволяющих перекрыть воду в случае необходимости осушения участка канала (многие представляют собой законченный архитектурный ансамбль).

Из объектов транспортной инфраструктуры нужно упомянуть железнодорожную ветку Вербилки – Большая Волга и автотрассу от Дмитрова до Волги, построенные первоначально для нужд строителей, а также тоннели и насыпи для автотранспорта, тросовые паромные переправы, мосты. Наряду с причалами и причальными стенками по всей трассе канала, в Москве были построены три речных порта – Северный, Южный и Западный – и два пассажирских вокзала. Если на юге Москвы было возведено временное деревянное здание, то Северный речной вокзал в Химках, ставший водными воротами столицы, был спроектирован в стиле «сталинского ампира». Специально для канала было построено несколько кораблей дальнего плавания и более десятка пассажирских теплоходов. В единый проект с Северным речным вокзалом был включен дом для руководства канала, ныне известный как «Дом на набережной».

Канал прокладывался прямо через Дмитров, поэтому старая часть города была снесена, но при этом возвели городок для сотрудников Дмитлага с характерными названиями улиц – Большевикская, Чекистская, Инженерная, Шлюзовая. Строились и предприятия: Дмитровский механический завод, экскаваторный завод, а также вспомогательные объекты для обеспечения строительства, включая лесопилки и небольшие предприятия по производству бетона на всем протяжении трассы.

Все это было построено в течение пяти лет, образовав в европейской части России единую глубоководную речную систему, мощную транспортную магистраль, до сих пор отвечающую техническим требованиям и при этом жестко вписанную в ландшафт и тесно связанную с прилегающими территориями.

Важной особенностью комплекса канала Москва – Волга являлось его эстетическое оформление, которое несло огромную идеологическую нагрузку (отмечалось, что окружающая среда была разрушена физически, но создана эстетически [Draskoczy, 2014, р. 195]). Как пишет С. Рудер, стройка воспринималась проектировщиками также и как культурное событие. В их намерения входило создание новой среды, которая внедряла бы соответствующие эстетические ценности. Скульптуры, установленные на берегах канала и на башнях шлюзов, изображали мускулистых рабочих и спортсменов, летчицу и колхозницу, красноармейцев и сотрудников ОГПУ, воплощавших образы героев эпохи. Все они имитировали

классический стиль и были призваны показать силу и красоту людей, демонстрируя безмятежность, прочность и застылость во времени [Ruder, 2018, p. 115–116, 123–125]. В то же время знаменитые копии каравеллы Колумба «Санта Мария», украшающие северные башни шлюза № 3 в Яхроме, навевали ассоциации с путешествиями и приключениями. При этом близость воды, зелень по берегам канала создавали ощущение покоя и упорядоченности и рождали впечатление, что «советская власть способна не только покорить водную стихию... но также и соединить искусство и природу» [Ruder, 2018, p. 120].

Присущая сталинской эпохе монументальность была реализована в архитектурном оформлении канала. Классическая простота, красота и гармония в сочетании с изобретательностью и продуктивностью современной эпохи – вот что старались воплотить архитекторы, проектируя высокие башни шлюзов и здания насосных станций, павильоны заградворот и паромных переправ и пр. Каждый гидроузел проектировался одним архитектором как отдельная структура со своей темой и стилем, чаще всего греко-романским либо отсылающим к эпохе Ренессанса<sup>1</sup>. При всей функциональности большую роль играли такие элементы, как колонны, арки и балконы, облицовка гранитом и богатая орнаментация, в том числе фресковой живописью [Ruder, 2018, p. 189].

Все это было призвано произвести впечатление на зрителей и восславить умение и воображение советских архитекторов. Стиль и пропорции – главные инструменты архитектуры, и они использовались в полной мере для создания монументального пространства канала по вертикали и по горизонтали, так же как и метафорического и идеологического пространства. Удачное сочетание монументальности и легкости представлено в здании Северного речного вокзала (1937), спроектированного в форме трехпалубного парохода (в первозданном виде его можно наблюдать в музыкальной комедии Г. Александрова «Волга-Волга» с Л. Орловой в главной роли). Так же как и московское метро, канал Москва – Волга должен был «впечатлять и очаровывать» [Ruder, 2018, p. 176].

Архитектура «увенчала» ландшафт, дала ему «лицо». В ее монументальности реализовалась общая для всех европейских стран

---

<sup>1</sup> Среди тех, кто принимал участие в проектировании, – архитекторы И.К. Белдовский, В.М. Лисицын, В.Я. Мовчан, А.Л. Пастернак, Д.В. Савицкий, Г.И. Вегман, И.Ф. Кринский и др.

идеология модернизма с ее опорой на грубую силу и одновременно чрезвычайной приверженностью к эстетике, что проявилось в СССР с особой остротой и яркостью<sup>1</sup>.

Безусловно, наибольшее впечатление производили 25-метровые (без учета пьедесталов) статуи Ленина и Сталина из темно-серого гранита, установленные перед первым шлюзом на противоположных берегах канала лицом друг к другу. Спроектированные известным скульптором С.Д. Меркуровым с аллюзией на традиции Древнего Египта, они были смонтированы в кратчайшие сроки руками самых опытных каналаармейцев. От приказа о проектировании двух памятников до их установки 1 августа 1937 г. прошло меньше полугода. Обе статуи подсвечивали мощные прожектора, превращая фигуры Ленина и Сталина в «маяки советской власти и сталинской идеологии, видные издалека» [Ruder, 2018, p. 181–187].

Труд архитекторов, пишет С. Рудер, делал легитимным сталинское государство, утверждая его место в истории. Однако в 1961 г. статуя Сталина (весом в 240 тонн) поздней ночью была демонтирована, и с тех пор ее фрагменты лежат на дне канала, когда-то названного его именем, а над ними проплывают корабли с ничего не ведающими пассажирами. По мнению С. Рудер, именно недостаток знания подрывает попытки увековечить память о строительстве канала, хотя такие попытки имеют место. В 1997 г. был воздвигнут стальной крест на берегу канала в Дмитрове, построена часовня в Деденево, организован музей в Яхроме и др. Тот факт, что они вообще появились, свидетельствует о настойчивом желании их создателей добиться, чтобы сага канала имени Москвы не была забыта, как и террор, который ей сопутствовал [Ruder, 2018, p. 15].

Сегодня первое, что встречает посетителя после перехода через плотину Ивановской ГЭС, – массивный кусок гранита, по форме напоминающий кремлевский зубец, с надписью: «Строителям канала Москва – Волга. 1932–1937. Героям и жертвам – память на все времена». Затем начинается широкая аллея, ведущая к каналу и памятнику Ленину на его берегу. История и Время не отпускают идущего на всем протяжении этого недлинного пути. Сама планировка аллеи, напоминающая санатории сталинской эпохи, с массивными вазонами и гранитными ступенями, гигантские столетние туи по ее сторонам, превратившиеся в экзотический тенистый лес, – все

---

<sup>1</sup> В 1930-е годы подобные монументальные здания строились в США, тогда же там была возведена циклопическая Гуверовская дамба.

это обостряет ощущение времени, а огромные обломки гранита, брошенные на берегу канала, еще раз напоминают о тех, кто его строил. С площадки, на которой стоит монументальный памятник Ленину, открывается вид на канал, с баржами, медленно проходящими через шлюз, с постаментом на противоположном берегу, где когда-то стоял памятник Сталину, а сейчас катаются скейтбордисты. Но главным действующим лицом в этой картине является водный простор с белыми мазками парусников, а волжский ветер усиливает ощущение свободы.

Рассказ о создании советского пространства был бы неполон без хотя бы краткого рассмотрения истории новых городов, строившихся в годы первых пятилеток по всей территории Советского Союза, а также реконструкции старых. Немногочисленные, но интересные работы, написанные в русле «урбанистических исследований» (urban studies), во многом смыкаются с экоисторией, обращаясь к проблемам окружающей среды. Представления о планировке и структурировании городского пространства с приданием ему «социалистических» черт дают и исследования архитектуры и культуры.

В глубокой и исключительно масштабной по своему предмету книге Катерины Кларк «Москва, четвертый Рим» отдельная глава посвящена новой монументальной архитектуре столицы и ее связи с политикой и идеологией сталинизма. Размышляя о поэтике городского пространства, автор указывает на отличия «сталинского ампира» с его стремлением к «возвышенному» и склонностью обильно декорировать монументальные фасады новых зданий от «гладких» образцов тогдашнего архитектурного стиля, который советские архитекторы старались в общем и целом имитировать [Clark, 2011].

В то же время историки архитектуры рассматривают проблемы планировки нового пространства – городов и новых районов, строившихся вокруг новых заводов, которые давали широкий простор архитектурной мысли. В книге Кристины Кроуфорд «Пространственная революция» подробно прослеживается история проектирования и строительства Магнитогорска в 1929–1932 гг. и нового района Харькова, возводившегося в 1930–1932 гг. возле Харьковского тракторного завода силами коллектива под руководством немецкого архитектора Эрнста Мая. Автор показывает, как в разгар стремительной советской индустриализации, в ходе экспериментов закладывались основы стандартизованного градостроительства, получившего глобальное распространение после Второй мировой войны [Crawford, 2022].

В свою очередь экоиистики закономерно обращают внимание на проблемы озеленения при планировке новых городов. Дж. Контерио рассматривает «территориальный поворот» в советских теориях градостроительства, имевший место в 1931–1932 гг. С этого времени планировка городов встраивается в систему общегосударственного планирования. Однако при всей расположенности к стандартизации концепт социалистического «города-сада», родившийся в начале XX в., сохранял свою влияние, трансформировавшись, правда, в «город с большим количеством зеленых насаждений» [Conterio, 2022].

Для новых проектов сталинских городов были характерны большие пространства как между домами, так и в рекреационных зонах: бульвары и парки представляли собой широко раскинувшиеся и одновременно строго организованные территории, предусматривавшие элементы украшений с использованием социалистической символики. Но зеленой составляющей продолжали уделять большое внимание.

Так, автор книги о городах за полярным кругом Питер Хеммерсам пишет о том, с какой гордостью руководители Мурманска продемонстрировали ему местный ботанический сад, заложенный в 1931 г. [Hemmersam, 2021, p. 44–45]. Сам факт существования этого самого северного ботанического сада в мире свидетельствует о том значении, которое имела в СССР начала 1930-х годов концепция «города-сада». Программа украшения / озеленения новых промышленных центров являлась составной частью архитектурного видения той эпохи. С другой стороны, скудость ресурсов и крайне сжатые сроки строительства толкали власти в сторону более скромных проектов. В советской Арктике, где города строились главным образом руками заключенных, озеленение выглядело экзотикой.

## СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ

15 ноября 1949 г. в Ленинградской филармонии была исполнена оратория Дмитрия Шостаковича на слова Евгения Долматовского «Песнь о лесах», через 11 дней ее слушала музыкальная Москва. Через год опальный композитор, обвиненный ранее знаменитым постановлением ЦК в «буржуазном формализме» и «пресмыкательстве перед Западом», уволенный из консерватории, получил за нее сталинскую премию. Официальные критики приветствовали ораторию как несомненный успех, сам композитор после ее исполнения, по рассказам, рыдал у себя дома [Brain, 2011, р. 1]. Патетическое прославление лично Сталина, положенное на музыку, было воспринято как образец официального искусства. В то же время само обращение к лесу, выраженное в простой музыкальной форме, с использованием фольклорных мотивов, призыв к позитивному действию (в особенности рефрен «Оденем Родину в леса») нашли отклик во всех слоях общества и пробуждали патриотические чувства. Была объявлена битва *за* природу, а не *против* нее.

Фактически стихи Долматовского воспели постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г. «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Его мгновенно окрестили «Сталинским планом преобразования природы», не столько из-за масштабов задач, рассчитанных на период 1949–1965 гг., сколько из пропагандистского

энтузиазма. Развернулась широкая кампания, всеми доступными средствами не только прославляющая мудрость вождя и учителя, корифея науки, но и мобилизующая население – от пионеров до колхозников – на выполнение программы, которая улучшит климат и накормит не то что страну – половину мира.

На самом деле лично Сталин к содержанию плана не имел отношения – за исключением того, что он издавна был большим сторонником лесовосстановления. План явился результатом многолетней работы лесоводов, «кульминацией лесоохранной политики СССР», как назвал его американский историк С. Брейн. В своей книге он исследовал политику в области охраны лесов, рассмотрев ее в контексте общей истории российского и советского лесоводства. Автор опроверг утверждение о крайне враждебном отношении Сталина и его окружения к природоохранным мероприятиям и показал, что сохранению лесов придавалось в сталинском СССР большое значение [Brain, 2011].

Брейн прослеживает деятельность советских лесоводов, учеников и последователей Г.В. Морозова, разработавшего в начале XX в. учение о лесе. В названиях глав используется лесоводческая терминология; они отражают события жизненного цикла леса: «Девственный лес: Возникновение лесостроительства в России», «Семена: Новые взгляды на русский лес», «Низовой пожар: Русский лес и большевистская революция», «Сплошная вырубка: Лес, сведенный в годы первой пятилетки», «Возобновление: Лесоохрана возвращается в Советский Союз», «Преобразование: Сталинский план преобразования природы».

Автор подчеркивает важность того обстоятельства, что в начале XX в. в России сложилась и обрела большую популярность особая этика отношения к природе, связывающая воедино русскую национальную идентичность, красоту и здоровье лесов и устойчивое экономическое развитие [Brain, 2011, p. 2]. В области лесоводства «революционные» взгляды на преобразование природы возобладали совсем ненадолго, в годы первой пятилетки. Затем произошло «возвращение к истокам», причем, как считает автор, исключительно благодаря фундаментальному значению леса как одной из категорий русской культуры. Лес ассоциировался в первую очередь со «старой» Россией, что для одних являлось свидетельством былого могущества, для других – отсталости, для многих писателей и художников XIX в. лес связывался с красотой русской земли и русского человека [Brain, 2011, p. 5–6]. Циркулировавшие в публичном дискурсе конца XIX – начала XX в. представления о том, что

обезлесение больших пространств ведет к иссушению и эрозии почв, к уменьшению полноводности рек и усилению засушливости климата, сохраняли свою значимость и в 1930–1940-е годы, в том числе для руководства страны, включая Сталина. Таким образом, не случайно, что в сталинской природоохранной политике центральное место занимала идея о необходимости сохранения и восстановления лесов.

Начало лесоохранной политики в СССР датируется в книге 1931 г., а в 1936 г. было создано новое ведомство – Главное управление лесоохраны и лесонасаждения (ГЛО). В ведение ГЛО было передано более 50 млн га, или третья часть лесов Европейской России, причем самых лучших и продуктивных; решение исходило с самого верха.

Учреждение ГЛО заложило институциональную основу для развития теории и практики охраны леса и способствовало формированию сообщества специалистов лесного хозяйства и лесоохраны. ГЛО издавало ежемесячный журнал «За защиту леса», разработало инструкции, основанные на принципах экологии. В отношении посадок новых лесов была создана подробнейшая номенклатура видов, которые следовало сажать на тех или иных типах почв в тех или иных зонах.

Важным моментом в истории лесоохраны стало принятие 23 апреля 1943 г., вскоре после победы в Сталинградской битве, Указа Совнаркома № 430, действие которого закончилось лишь 31 декабря 2006 г. Принятый в столь сложное время закон свидетельствовал о преданности природоохранному делу, и пусть, как замечает автор, в основе его лежали соображения о сохранении полноводности рек – аргументы, весьма отличающиеся от тех, которыми оперировал инвайронментализм в других странах, – «русский лес» от этого только выиграл [Brain, 2011, p. 131]. Леса Советского Союза были поделены на три категории, из которых первые две были защищены от промышленной эксплуатации. Обе категории находились в компетенции ГЛО и охватывали огромное пространство, равное примерно четверти территории США.

В 1947 г. было создано Министерство лесного хозяйства, ставшее единым ведомством, отвечающим за лесоохрану, что должно было предотвратить хищническую рубку незрелых участков и вырубку делового леса на топливо. В функции нового ведомства входило проведение замещающих лесопосадок и создание лесозащитных полос во избежание опустынивания земель. В соответствии с популярной теорией В.В. Докучаева, утверждавшего, что перио-

дически возникающие в черноземных степях юга России засухи имеют своей причиной хищническое уничтожение лесов, лесонасаждение считалось главным средством борьбы с этими негативными явлениями.

Большую роль сыграл Минлесхоз в реализации «Сталинского плана преобразования природы», который Брейн называет первой государственной программой по борьбе с антропогенными изменениями климата. В 1947–1948 гг. новое министерство приняло масштабный и тщательно разработанный план по насаждению 1,5 млн га защитных лесополос на юге России и Украине по берегам рек и вокруг колхозных полей, что имело своей целью изменение микроклимата, увеличение устойчивости и биоразнообразия местных ландшафтов, а в конечном итоге – повышение урожайности.

К этому времени советские ученые уже были хорошо осведомлены о масштабных мерах, принятых в США в 1934–1942 гг., после экологической катастрофы на американском Среднем Западе, получившей название «Пыльный котел» (Dust Bowl). В условиях сильных засух в 1930–1936 гг. прерии США и Канады пережили серию сильнейших пыльных бурь, когда огромные массы почвы сдувались ветрами и переносились в виде черных облаков на большие расстояния – вплоть до Атлантического океана. В результате разорились и остались без крова сотни тысяч семей, что внесло весомейший вклад в Великую депрессию (есть мнение, что именно это и сделало ее «великой»), у многих жителей прерий диагностировалась «пыльная пневмония». Реакция пришедшей к власти в 1933 г. администрации Рузвельта была стремительной, и уже в 1934 г. был запущен масштабный проект по созданию защитных лесополос (American Shelterbelt Project).

Как показано в монографии Д. Муна, представляющей собой сравнительное исследование Великой равнины Северной Америки и степей Евразии, именно российские и затем советские исследования сыграли большую роль в запуске этого проекта. Основное внимание автор уделяет истории науки и научных контактов. Речь идет о влиянии русского почвоведения и собственно концепции В.В. Докучаева, а также лесоводства, в особенности методик создания защитных лесополос. Начавшиеся в последние десятилетия XIX в. научные контакты ненадолго прервались в годы войн и революций и возобновились, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя странами до 1933 г. [Moon, 2020].

Канадские и американские специалисты использовали контакты с российскими, а затем с советскими коллегами для получения

образцов пшеницы и выведения новых сортов. Полученные гибриды стали основой зерновой культуры пшеницы в прериях. В 1920–1930-е годы произошла, по словам Муна, «русская революция» в бюро Министерства сельского хозяйства (United States Department of Agriculture (USDA)), занявшегося обследованием почв в США для выработки агротехнических рекомендаций для фермеров. Оно базировалось на исследованиях степного чернозема, проводившихся В.В. Докучаевым в 1880-е годы [Moon, 2020, p. 14–15].

Апогеем научных контактов можно признать два международных конгресса почвоведов, первый из которых прошел в США в 1927 г., второй – в Москве и Ленинграде в 1930 г. В его работе с советской стороны приняли участие почти 400 человек. Контакты были свернуты во второй половине 1930-х годов, в ходе сталинских репрессий, и не смогли возобновиться в должной мере в период холодной войны [Moon, 2020, p. 1–2].

Но в начале 1930-х сотрудничество имело место, причем не только с Министерством сельского хозяйства, но и с Лесной службой США, продвигавшей проект создания лесозащитных полос на Великих равнинах для борьбы с эрозией почв. Технология эта была уже известна, однако российский опыт был куда длительнее, с ним были знакомы многочисленные иммигранты из России, в том числе меннониты, с 1870-х годов проживавшие на Среднем Западе. Кроме того, еще царское правительство вкладывалось в подобные мероприятия.

В 1934 г., когда борьба с эрозией почв в США приобрела общенациональное значение, представитель Министерства сельского хозяйства обратился к Н.И. Вавилову с просьбой предоставить информацию о советских ученых, занимающихся этой проблемой, и их публикациях, а также о видах растений, сдерживающих эрозию. Результатом переписки стала поездка двух специалистов министерства в Среднюю Азию в 1934 г., организованная по линии АН СССР и Интуриста. Они посетили исследовательские институты, опытные станции, отдельные хозяйства, где смогли изучить методы борьбы с эрозией почв в теории и на практике. Получили семена соответствующих растений и, несмотря на разнообразные приключения, включая утерю ценного багажа, с помощью Вавилова благополучно вернулись в Вашингтон [Moon, 2020, p. 382–383].

В Лесной службе США меры по созданию защитных лесополос активно продвигались главой лесоводов Эдвардом Маннсом и еврейским эмигрантом из России Рафаэлем Зоном, директором лесной опытной станции в Миннесоте, – он постоянно и горячо

отстаивал первенство России в этой сфере. Их совместный тезис о том, что лесозащитные полосы способны смягчить климат и увеличить количество осадков, базировался на некоторых советских публикациях и вызвал достаточно острую полемику [Moon, 2020, p. 389]. Впрочем, и в СССР такие утверждения считались весьма спорными, что проявилось в советско-американских научных дискуссиях в 1935 г.

Тем не менее проект был запущен, и к 1942 г. в шести равнинных штатах США было посажено более 220 млн деревьев, что превратило, как писал представитель Лесной службы, «мечту» и «теорию» в осязаемую реальность [Moon, 2020, p. 390]. Проект был признан успешным, и, по слухам, эта тема обсуждалась Сталиным и Рузвельтом в феврале 1945 г. на Ялтинской конференции. По мнению Д. Муна, это может соответствовать действительности, поскольку как раз в те дни Рузвельт запросил отчет о деятельности комитета по борьбе с засухами [Moon, 2020, p. 391]. Косвенным подтверждением может служить и интерес к теме лесовосстановления среди высших кругов Европы.

Как отмечает С. Брейн, показательно, что даже в самые тяжелые дни войны, в 1942–1943 гг., в СССР продолжали проводить лесонасаждение, и в 1944–1945 гг., когда победа уже была гарантированной, процесс значительно ускорился (5,7 % от плана в 1942, 13,6 – в 1944 и 26,6% – в 1945 соответственно) [Brain, 2011, p. 200]. 11 октября 1947 г. Совет Министров одобрил план Минлесхоза по посадке лесов в хозяйствах Курской, Орловской, Тамбовской и Воронежской областей. Полгода спустя, 24 апреля 1948 г., получила одобрение идентичная, но менее масштабная версия по Украине. В обоснованиях скромно говорилось о том, что полесозащитные пояса снизят скорость ветра, что, в свою очередь, снизит испаряемость и, соответственно, иссушение. В совокупности оба плана предполагали посадку более 1,5 млн га леса, однако при всей грандиозности работы должны были вестись постепенно, в ограниченном объеме, на основе четких методических инструкций. В первые три года планировалось создать питомники и посадить только одну шестую саженцев [Brain, 2011, p. 147].

Однако правительство решило иначе. По всей видимости, переориентация произошла на конференции лесоводов в Велико-Анадольском лесничестве в июле 1948 г., в которой приняло участие и партийное руководство. По свидетельствам участников, ее (не сохранившиеся) материалы и легли в основу постановления от 20 октября 1948 г., получившего название «Сталинский план преобразования

природы». Цифры в этом документе в разы превышали и без того грандиозные планы министерства. Он предусматривал создание лесозащитных полос на территории площадью почти 6 млн га и не имел мировых прецедентов по своим масштабам.

Зарубежные историки единодушно считают одной из причин резкого изменения планов голод, разразившийся в 1946 г. в результате сильнейшей засухи, и тот факт, что урожаи 1947–1948 гг. оказались также недостаточны и не превысили дореволюционного уровня. Второй причиной стало начало холодной войны и соревнования с Западом, когда разоренный войной Советский Союз должен был в одиночку восстанавливать экономику. Именно как «ответ Западу» интерпретирует С. Брейн итоги конференции в Велико-Анадольском лесничестве, которые должны были продемонстрировать превосходство коммунистической идеологии над капитализмом и ее власть над природой [Brain, 2011, p. 148].

Тем не менее размах пропагандистской кампании, начатой в поддержку грандиозного плана, объясняется не только обострившимся противостоянием с капитализмом, но и тем обстоятельством, что в его реализацию должны были быть вовлечены громадные массы населения. Для Минлесхоза цифры остались теми же, а остальные три четверти работы ложились на плечи Министерства сельского хозяйства, т.е. в конечном итоге колхозов и совхозов. Почти в четыре раза увеличив первоначальные задания по лесопосадкам, правительство развернуло широкую идеологическую кампанию. Перед страной была поставлена амбициозная цель – изменить климат юга Европейской России путем создания восьми тысячекилометровых лесных полос, которые преградят дорогу горячим ветрам из Средней Азии. Провозглашалось, что только такая прогрессивная страна, как Советский Союз, способна мобилизовать свой народ на службу науке и решить столь грандиозные задачи. В условиях тяжелейшей ситуации с продовольствием печатались брошюры, снимались кинохроники, демонстрирующие, как дети едят ягоды в новых лесах и гуляют в пустыне, превращенной в оазис [Brain, 2011, p. 149].

Очень быстро к плану преобразования природы подключился Т.Д. Лысенко<sup>1</sup>, находившийся тогда на пике своего влияния. Он вы-

---

<sup>1</sup> Фигуре Лысенко посвящено немало работ зарубежных историков, которые, однако, не смогли разгадать загадку его непотопляемости. См.: Joravsky D. Lysenko affair. – Chicago : Univ. of Chicago press, 1986. Roll-Hansen N. The Lysenko effect. – Amherst, NY : Humanity Books, 2005; Pollock E. Stalin and the Soviet science wars. – Princeton : Princeton univ. press, 2006.

двинул новую антинаучную теорию и предложил особую методику лесопосадок, объявив ее трудосберегающей, что тут же обеспечило ему поддержку правительства. Согласно расчетам Минлесхоза, на посадку гектара леса должно было уходить 85 рабочих дней, Лысенко предлагал всего три дня [Brain, 2011, p. 153].

Тысячи добровольцев – пионеров и комсомольцев, студентов, колхозников – наряду с сотрудниками лесозащитных станций и МТС приступили к посадке деревьев квадратно-гнездовым методом. По убеждению Лысенко, тесно посаженные растения одного вида перестают конкурировать между собой и становятся «коллективистами» – они обладают определенным качеством «саморазреживания», что позволяет поддерживать рост популяции посредством саморегулирования. Лесоводы и экологи Минлесхоза почти сразу же начали борьбу с новыми идеями Лысенко и его сторонников, практиковавших «прометеевский», по определению американского историка, подход к природе. Сама жизнь быстро доказала несостоятельность как самой теории, так и методики Лысенко, поскольку тесно посаженные дубки погибли от недостатка влаги, задушенные сорняками. Посадки выжили лишь там, где за ними был должный уход, который обеспечивался в соответствии с инструкциями Минлесхоза. К 1952 г. квадратно-гнездовой метод был отодвинут.

Однако не только вмешательство Лысенко с его антинаучными методами препятствовало выполнению планов. Практика привлечения к работе колхозников, изначально вызывавшая глубокие сомнения в министерстве, также оказалась несостоятельной. Хуже всего, пишет Брейн, было то, что несмотря на массивную пропаганду, во многих колхозах ничего не слышали о грандиозном плане и тех заданиях, которые они должны были выполнять (притом что колхозникам предполагалось начислять трудовни по итогам работы – исходя из приживаемости саженцев). Многие трудились с неохотой и небрежно, за новыми посадками не следили, так что в 1951 г. колхозами было выполнено только 64,6% плана. Хозяйства не желали отводить свою землю под лес, а местные руководящие и партийные органы власти отказывались применять к ним жесткие меры.

Неудивительно, что после смерти Сталина план преобразования природы был быстро свернут. Интересно, что в отдельных случаях, как, например, в зоне Камышинско-Сталинградского пояса, по инициативе комсомольцев и местных лесоводов работы были продолжены и закончены к 1956 г. Следы их деятельности до сих пор видны на спутниковых фото и картах Google Earth [Brain, 2011, p. 164].

Высказывается мнение, что одной из причин сворачивания плана явилось недостаточное развитие советской науки, неспособной поддержать начинание. Но скорее причину следует искать в сфере «высокой политики». Безусловно, стремительная ликвидация уже в апреле 1953 г. Минлесхоза и передача его функций Министерству сельского хозяйства, закрытие нескольких сотен лесозащитных станций, увольнение множества лесоводов, лесотехников и агрометеорологов, урезание финансирования на 80% должны были иметь под собой весьма серьезные основания. И все же истинные причины сворачивания огромной сферы государственной деятельности, пишет Брейн, остались неизвестны даже специалистам.

В целом выполненный приблизительно на 20% «Сталинский план» не достиг ни одной из своих заявленных целей. К 1954 г. погибло более половины саженцев, так что лесополосы носили весьма фрагментарный характер. Это хорошо видно на спутниковых снимках 1970 г. Еще хуже обстояло дело с лесозащитными полосами на колхозных полях, где выжило не более 400 тыс. га. Затраты на выполнение плана, пишет С. Брейн, никогда не были подсчитаны. Тем не менее определенные результаты все же имелись, и они касались реалистичных задач, поставленных Минлесхозом, а не глобальных целей, которые добавило в него правительство. По данным исследований и отчетам Минсельхоза, в тех местах, где сохранились полезащитные насаждения, был отмечен умеренный, но отчетливый рост урожайности [Brain, 2011, p. 165].

В США многие лесозащитные полосы, посаженные в 1930–1940-е годы, уже ликвидированы. Новые интенсивные агротехнологии позволяют обходиться и без них, хотя во многих полузасушливых регионах мира продолжают практиковать лесопосадки, которые ведут свое происхождение из России, пишет Д. Мун. В Северной Америке до сих пор сохранились виды, интродуцированные из евразийских степей, – карагана древовидная, шелковица, сибирский вяз и др., – но также и перекати-поле, завезенный когда-то случайно сорняк, ставший, как ни странно, культурным символом американского Запада [Moon, 2020, p. 393].

Еще один пример международного измерения «великого плана» представлен в сборнике, посвященном его роли в советизации Восточной Европы. В отличие от обличительного по тону и голословного (а где-то и искажающего факты) предисловия П. Джозефсона, статьи чешского, венгерского и польского историков дают весьма взвешенную картину. В своем объемном предисловии Джозефсон широкими мазками рисует картину покорения природы в СССР

тоталитарным государством и пишет о том, что «под диктовку партии ученые и чиновники составляли агрессивные программы порабощения рек, степей, лесов и пахотных земель» [Josephson, 2016 p. 4]. Конкретно-исторические исследования далеки от оценок такого рода; они предлагают и интересные факты, и обобщения.

Авторы рассматривают «Сталинский план преобразования природы» в общем контексте советизации их стран, включавшей в себя прежде всего индоктринацию партийного руководства и населения, проведение коллективизации и строительство «образцовых социалистических городов» в ходе развития тяжелой индустрии. Все эти аспекты имеют прямое отношение к экоистории.

Характеризуя сам план, чешские историки Дубравка Ольшаккова и Арношт Штанцель выделяют три его принципиальных черты: коммунистическую идеологию, поместившую трансформацию природы в систему советских символов; агрессивность (которую объясняют отсутствием политической оппозиции); веру, которая не только дала ученым «символические крылья» в начале 1950-х годов, но также, в условиях политического единства, предоставила им «очень опасное оружие: почти неограниченную политическую власть в реализации этих планов» [Olsáková, Stanzel, 2016, p. 45]. Речь идет о засилье лысенковщины в национальной науке, руководители которой продемонстрировали, судя по данным всех трех историков, поразительную сервильность.

Советизация, пишут Ольшаккова и Штанцель, представляла собой прежде всего имитацию советских моделей, но в области науки – той ее части, которая имела отношение к «Сталинскому плану», – это означало применение методов Лысенко и Вильямса с его травопольной системой земледелия, а также внедрение мичуринской агробиологии. Последняя оказалась наиболее безобидной, инициировав в Чехословакии движение «народных селекционеров», которое способствовало развитию низовых социальных связей. Лысенковщина продержалась в странах соцлагеря до конца 1950-х годов, но уже после смерти Сталина и особенно после XX съезда «самоуверенность» политической элиты и академических руководителей значительно снизилась. Их подход к реализации плана, рассчитанного на 10 лет, стал более умеренным, а мегаломания первых лет быстро исчезла [Olsáková, Stanzel, 2016, p. 63].

В Чехословакии первые признаки официального интереса к лесонасаждению проявились до выхода советского постановления 20 октября 1948 г. Еще весной этого года была объявлена «Неделя лесов и деревьев», призванная представить населению

советские методы лесопосадок. В распространявшихся тогда брошюрах объяснялось значение лесов для преобразования природы. Закон о создании лесозащитных полос и водоемов вступил в силу в Чехословакии в сентябре 1948 г., через полгода после прихода к власти коммунистов, но он был гораздо скромнее по своим задачам и в нем отсутствовало «барочное величие советского акта» [Olsáková, Stanzel, 2016, p. 65].

Скорее всего, этот закон базировался на предшественнике советского постановления 20 октября 1948 г. – проекте, созданном специалистами-экологами Минлесхоза. И потому неудивительно, что чешские историки отмечают не только меньшую его агрессивность, но отчетливую преемственность с природоохранными идеями довоенной Чехословакии. При ближайшем рассмотрении чешского варианта выясняется, что его конкретное содержание относится не столько к трансформации, сколько к охране природы (например, запрет выжигать траву с 16 марта по 30 сентября).

В то же время в законе указывалось, что все неплодородные земли в стране следовало либо засадить лесами, либо создать на них систему орошения. Лесонасаждение должны были осуществить собственники земель в течение пяти или 10 лет в зависимости от размера владений. Таким образом, хотя чешский закон (и в особенности его интерпретация в пропаганде) и обнаруживал опору на советский опыт, на практике он был весьма умеренным. Как пишут авторы, в нем проявилось доминирующее влияние межвоенного поколения защитников природы [Olsáková, Stanzel, 2016, p. 67].

Пропаганда шла своим путем, и ее сюжеты часто имели отношение к сельскому хозяйству, находившемуся в фокусе внимания в 1950-е годы в связи с реализацией «Сталинского плана». В это время во всей Центральной и Восточной Европе распространился колорадский жук, который для СССР и стран Восточного блока стал символом – и посланником – американского империализма. Распространение колорадского жука подавалось коммунистической пропагандой как беспрецедентная «биологическая атака» на сельское хозяйство социалистических стран. В то время как реальная война шла в Корее, в Европе разворачивалась война «биологическая», и виновником обеих войн являлась Америка. Идеология, как пишут авторы, была далека от реального положения дел. Тем не менее, идя в кильватере у Советского Союза, правительство Чехословакии вручило ноту протеста по поводу распространения колорадского жука послу США в Праге [Olsáková, Stanzel, 2016, p. 76–78].

Исполнение «Сталинского плана преобразования природы» в странах Восточной Европы, при некоторых различиях, имело общие черты и этапы. Принятый сразу же после прихода к власти коммунистических правительств, он получил институциональное подкрепление в начале 1950-х годов в виде создания ряда органов, ответственных за его исполнение (в частности, национальных Академий наук). Особенно острой проблемой в странах Восточной Европы стала в эти годы сталинизация науки. Затем последовал период механического копирования советских моделей, закончившийся к 1956 г. Последующие несколько лет характеризовались внедрением собственных практик, основанных на национальных традициях межвоенного периода, с постепенным отказом от «фанатического подхода к построению социализма» [Olšáková, Štanzel, 2016, p. 109].

Опыт трех стран, несомненно, различался: в более жаркой Венгрии, например, активно насаждались новые для страны или неизвестные там ранее сельскохозяйственные культуры, такие как, например, хлопчатник или каучуконос кок-сагыз – любимое детище Лысенко. Впрочем, попытки ввести выращивание риса по советским директивам наблюдались не только в Венгрии, но и в Чехословакии. Но во всех трех странах, обладающих собственными традициями как в области земледелия, так и лесонасаждения, не говоря уже об охране природы, перспективы выполнения советского плана, основанного на данных науки конца XIX – начала XX в. и антинаучных теориях Лысенко, были весьма сомнительными [In the name of the great work..., 2016].

В то же время при рассмотрении масштабного плана, пусть и столь внезапно свернутого в Советском Союзе, нельзя упускать из виду такие его составляющие, как ирригация и травосеяние. Они напоминают о том, что главной его целью в конечном счете было накормить страну – однако опосредованным способом. Пришедший к власти вскоре после смерти Сталина Хрущев, расположенный к масштабным планам преобразования природы не меньше своего предшественника, начал решать проблему обеспечения продовольствием более прямыми методами.

К сожалению, в зарубежной историографии отсутствуют специальные исследования кампании по освоению целины (за исключением нескольких статей). Однако имеется монография «Кукурузный крестовый поход», посвященная попытке Хрущева совершить революцию в сельском хозяйстве [Hale-Donnel, 2019].

Взявшись за эту тему, Аарон Хейл-Доннел хорошо понимал, о чем идет речь: уроженец Среднего Запада, он работал в школьные

годы на уборке кукурузы. Главной целью его исследования явилось развенчание мифов о «волонтаризме» и легкомыслии Хрущева, которые до сих пор лежат в основе оценок историков. Как показано в книге, наследники Сталина осознали, что только современное сельское хозяйство, использующее промышленные технологии, может обеспечить население богатым и разнообразным продовольствием, повысить уровень жизни и стабилизировать общество. Все это имело сущностное значение в ситуации холодной войны, которая подразумевала соревнование двух экономических систем, – ведь в первые послевоенные годы сельскохозяйственное производство и США, и стран Западной Европы росло быстрыми темпами.

Интеграция колхозов в промышленное производство (фактически, смычка города и деревни, но в ее новом обличье) стала сверхзадачей, поскольку пути назад, в довоенное время, не было. Как пишет автор, было несколько вариантов реформирования сельского хозяйства, однако под влиянием идеологии высокого модернизма и того увлечения Америкой, которое возникло еще в 1920-е годы, разведение кукурузы в сочетании с индустриализацией сельского хозяйства оказались для Хрущева решением проблемы. Увиденное советской делегацией в США в 1955 г. утвердило руководство во мнении, что капиталистические технологии могут послужить делу построения коммунизма. Хрущев предпринял практические шаги в направлении утопии, пишет автор. Производство кормовой кукурузы должно было привести к повышению уровня потребления мяса и молока, а в конечном итоге – к повышению уровня жизни советского человека.

В отличие от травополя, насаждавшегося «Сталинским планом», выращивание кукурузы требовало интенсивной обработки почвы, а также массированного применения минеральных удобрений и пестицидов. Хрущев попытался совершить аграрную революцию, содержанием которой стали механизация и химизация сельского хозяйства.

Как и при Сталине, началась пропагандистская кампания, в том числе в развлекательном секторе, где зрителям демонстрировались образы «чудесницы» и «царицы полей». Однако воспринималось это уже иначе, с большой долей юмора, а из-за отсутствия немедленных результатов реформ люди отнеслись к ним как к пустым обещаниям.

Главной причиной провала плана, по мнению Хейл-Доннела, стало преобладание политических целей и его неподготовленность. Не учитывались возможности хозяйств, не был просчитан эконо-

мический эффект от выращивания кукурузы в разных регионах и в разных климатических условиях, а аппетиты руководства росли: Хрущев стал требовать отводить под кукурузу посевные площади за счет других зерновых. Неудачи в конечном итоге носили в основном технический характер, и повинно в них было главным образом местное руководство, предпочитавшее с показным рвением бездумно выполнять приказы вышестоящего начальства [Hale-Donnel, 2019, p. 230]. Тем не менее, несмотря на объявленный провал, кукуруза заняла в советской номенклатуре зерновых куда большее место, чем прежде, а цифры по объемам выращиваемой на силос кукурузы оставались впечатляющими.

Провал хрущевских проектов – и аврального освоения целины, которое привело к быстрому засолению почв и невозможности снимать там большие урожаи, и повсеместного насаждения кукурузы, не желавшей расти под Архангельском, – представляет собой пример неспособности реализовать идеалы высокого модернизма.

## ЭКОИСТОРИЯ АРКТИКИ

В воображении европейцев арктические территории долгое время представляли миром безмолвия, бескрайних сверкающих льдов, северных сияний во мраке полярной ночи и холода, несущего смерть, – миром, где царила вечность [McCannon, 2012, p. 7]. Ледяная пустыня была, однако же, населена, и не только белыми медведями, кочующими по тундре и льдам арктических морей. Картину оживляли собачьи упряжки, чумы редких стойбищ, стада северных оленей. Скованная морозом и льдами земля манила своими богатствами – пушниной и морским зверем, золотом и медью, и в эпоху Великих географических открытий началось завоевание севера Евразии и Америки.

Образ пустыни, незаселенной и необработанной земли, как будто бы ожидающей вмешательства человека, типичен для колониационного дискурса, нацеливающего, с одной стороны, на извлечение ресурсов, с другой – на освоение новых территорий. Арктическая пустыня была куда более опасной, чем Калахари или Каракумы, к тому же абсолютно неведомой, и довольно быстро началось ее научное изучение. В ходе многочисленных экспедиций, количество которых резко возросло в XX в., собирались все новые данные, от которых много выиграли естественные науки, и прежде всего ботаника, зоология, география и геология. Рождаются и развиваются новые науки – гляциология, климатология, мерзловедение.

Вторая мировая война на практике доказала стратегическое значение полярных регионов, которые вошли в фокус интереса держав, начавших войну холодную. Третий международный

полярный год, объявленный на 1957–1958 гг., сигнализировал о возникновении «полярного вектора» в глобальной геостратегии. К этому времени уже энергично расширялась авиабаза США в Туле (Гренландия), находившаяся на полпути к СССР. Одновременно активизировались научные исследования, и регионы с экстремально низкими температурами становятся экспериментальными площадками для выяснения вопросов, связанных не только с изучением снега и льда, с тестированием новых технологий, но и с возможностями выживания человека в таких условиях [Ice and snow..., 2019, p. 3–5].

Отношение к Арктике со стороны правительств, военных и даже ученых в тот период было вполне потребительским, хотя начиная с 1960-х годов экологическая повестка постепенно входит в международную политику стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану (Дании, Канады, Норвегии, СССР и США). Она вышла на передний план после окончания холодной войны, благодаря организации в 1996 г. Арктического совета, призванного содействовать охране окружающей среды и устойчивому развитию приполярных регионов. Интерес к Арктике обострился в связи с глобальным потеплением, когда началось активное таяние льдов. Помимо озабоченности, которую вызывает это явление у мировой общественности, тут имеется и чисто экономический интерес, обусловленный большей доступностью освобождающейся от льдов территории. Во-первых, становится реальным открытие судоходства в северных широтах (возрождение Северного морского пути). Во-вторых, исключительное богатство ресурсов океанического дна обещает невероятные прибыли.

Как пишет Н. Брейфогл, оценить действия участников Арктического совета невозможно без знания истории северных территорий, которые были поделены между этими странами очень давно. Нынешнее соперничество пробудило воспоминания о давних и глубоких связях России с Арктикой, которая, особенно в XX в., занимала видное место в национальном развитии страны [Breu-fogle, 2012]. Он отмечает, что арктическая территория составляет примерно 25% от всех российских земель, содержит «непропорционально большую» часть природных ресурсов и в годы холодной войны играла стратегическую роль. Однако именно в сфере культуры и воображения место Арктики особенно значимо. Исследования Севера и его освоение начиная с 1930-х годов закрепились в исторической памяти, в которой присутствуют ассоциации с героями того времени: челюскинцами и О.Ю. Шмидтом,

с Валерием Чкаловым, совершившим первый перелет через Северный полюс в США, с основателями первой полярной станции «Северный полюс – 1» Папаниным и Ширшовым.

Именно влиянием исторической и культурной памяти историко-русисты объясняют излишнюю, как считают сегодняшние партнеры, активность РФ в Арктике. Гонка исследований самых отдаленных пределов планеты началась давно, и Великая Северная экспедиция<sup>1</sup> второй четверти XVIII в. признается величайшим научным предприятием того времени – и первой главой в изучении Русской Арктики [Breyfogle, 2012].

Таким образом американский историк пытается вписать в бюрократизированный мир международной политики, регулирующей отношения в Арктике путем правовых актов, исторические исследования этого региона – и заодно обосновать их актуальность.

Однако необходимость научного изучения Арктики, в том числе ее российской части, историками и гуманитариями не нуждается в обосновании. К настоящему времени вышло несколько работ общего характера, посвященных этой теме. Две из них, опубликованные в 2012 г., рассматривают историю открытия и освоения арктического региона в целом, уделяя большое внимание России и СССР [McCannon, 2012; Vonhomme, 2012]. Третья, хотя и написанная в журналистском ключе и весьма негативистская в подаче материала, также содержит богатую фактографию и посвящена исключительно России [Josephson, 2014].

За последние несколько лет вышли и специальные монографические исследования по экологической истории этого региона. Их подходы и проблематика отражают двойственность самого объекта исследования. С одной стороны, Арктика выступает как природный объект, крайне уязвимый с точки зрения экологии, с другой – как ресурс, требующий эффективного управления, что обуславливает интерес к политическому прошлому региона. При этом анализ историографии по экоистории Арктики позволяет

---

<sup>1</sup> Великая Северная экспедиция, называемая также Второй Камчатской (первая под руководством Витуса Беринга в 1728–1729 гг. убедилась в отсутствии соединения между Азией и Америкой), проводилась в 1733–1743 гг. силами пяти морских и двух сухопутных отрядов. Были описаны и картографированы (частично) побережье Северного Ледовитого океана от Архангельска до Чукотки, обследованы и нанесены на карту побережья Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии, открыты и описаны Южные Курильские, Командорские, Алеутские и др. острова, обследован американский берег (Аляска).

уловить определенную эволюцию, которую, с некоторой осторожностью, можно было бы обозначить как тенденцию.

Тенденция рассматривать Арктику как целостный регион, преодолевая национальные границы и не упуская при этом из виду Россию, наблюдается в книге Джона МакКеннона «История Арктики: Природа, исследование, эксплуатация» [McCannon, 2012]<sup>1</sup>. Как и всякая обобщающая работа, книга не свободна от некоторой приблизительности и фактологических ошибок, но зато богата точными образами (а именно они и остаются в человеческой памяти). Профессионально работает с образами и сам автор, в своей предыдущей книге подробно изучивший становление в СССР мифа о Севере (см. сноску 4 на с. 12). МакКеннон показал не только лицевую сторону советских полярных экспедиций, но и стоявшую за официальными реляциями реальность, часто весьма неприглядную. В то же время большое внимание он уделил «поп-культуре» 1930-х годов, проследив по мемуарам, фильмам, радиопередачам, детской литературе и пр., как миф о Советской Арктике стал важной составной частью эстетики социалистического реализма.

В своей «Истории Арктики» МакКеннон указал на ее многоликость и изменчивость. Даже географические границы региона достаточно сложно определить. Северный полюс, расположенный на 90-м градусе северной широты, постоянно, хоть и незначительно меняет свое положение. Весьма значительно дрейфует Северный магнитный полюс: только с 2001 по 2005 г. дрейф в направлении Таймыра составил два градуса, и скорость его все увеличивается. Условная граница Арктики – Северный полярный круг, за которым начинается Заполярье, – также из-за постепенного уменьшения наклона земной оси смещается к северу [McCannon, 2012, p. 8–9]. Однако исследователи не ограничиваются указанной географической широтой, рассматривая также и субарктические регионы и ориентируясь главным образом на природные зоны, включающие в себя тайгу, тундру и полярную пустыню – каменистые территории на островах и Крайнем Севере, почти лишённые почвы. Омывающий Арктику Северный Ледовитый океан – наименьший по площади, глубине и запасам воды из всех мировых океанов, с большим количеством островов, – весьма сложный природный объект. Он оказывает влияние на динамику воздушных масс и на мировую погоду в

---

<sup>1</sup> Не следует упускать из виду, что английское слово *exploration* означает не столько научное исследование, сколько разведку и освоение.

целом. Однако, при всей актуальности проблемы глобального потепления, некоторые научные модели, объясняющие и прогнозирующие климатические колебания в регионе, сегодня кажутся исследователям неполными [McCannon, 2012, p. 14–15].

МакКэннон не использует концепцию антропоцена, тем не менее его исторический очерк вписывает Арктику в заданные хронологические рамки, расширяя их до «доисторических» времен. Он отмечает, что только в плейстоцене (четвертичном, или ледниковом, периоде), т.е. приблизительно 2,6 млн лет назад, территория Арктики стала в общем и целом такой, как в наше время. И только с началом голоцена 12 тыс. лет назад, когда ушел ледяной покров с территории Евразии и Северной Америки, сформировалась экосистема Арктики, самая молодая на Земле. А раньше, каких-то 70–75 млн лет тому назад, Северный Ледовитый океан был свободен ото льдов, на севере Аляски и Сибири росли папоротники и секвойи, среди которых бродили динозавры, – благодаря чему Арктика так богата углеводородами.

В период плейстоцена, характеризовавшегося сменой холодных и более теплых периодов, льды на обширных территориях Северного полушария то наступали, то отступали, и соответственно то понижался, то поднимался уровень мирового океана. Эпоха голоцена, в которую мы живем, представляет собой лишь теплый промежуток, межледниковье, за которым следует новое оледенение. «Другое дело, что благодаря достижениям цивилизации, хорошо, если человечеству доведется дожить до нового наступления льдов», – замечает МакКеннон [McCannon, 2012, p. 13–14].

В предшествовавший голоцену холодный период (гляциал) оледенение достигло своего максимума 22–18 тыс. лет назад, и хотя льды начали отступать, мастодонты, пещерные львы и шерстистые носороги еще несколько тысяч лет сохраняли свои популяции в Северном полушарии. Присутствие людей, пишет МакКеннон, было в этот период уже заметным, и останавливается на истории Сибири эпохи палеолита. Приблизительно 12–14 тыс. лет назад сообщества охотников-собирателей из Северо-Восточной Евразии направились в Северную Америку. Мы привыкли думать, что там, где после таяния льдов 9–10 тыс. лет назад образовался Берингов пролив, ранее имелся некий узкий перешеек. Между тем ширина «полоски» земли составляла примерно 600 миль с севера на юг [McCannon, 2012, p. 35].

Реконструируя первобытную историю Арктики, МакКеннон наглядно демонстрирует значение климатического фактора для

понимания миграций. Он обзорно рассматривает народы, населявшие в эпоху голоцена полярные территории от Норвегии до Аляски, их занятия, образ жизни, космологию и обычаи, показывая их особую зависимость от климата, в том числе отмечая изменения в период потепления 1200–1300 гт. Освещаются в книге и обстоятельства, в которых государства Северной Европы, а также Московия, взаимодействовали с Арктикой и ее народами до 1500 г. Эту хронологическую точку автор принял за условную границу, после которой в контакт с полярными регионами входят и другие государства, когда воздействие «западного экспансионизма» и на экосреду, и на людей, ее населяющих, становится все более ощутимым [McCannon, 2012, p. 35].

Последующую историю Арктики МакКеннон описывает в терминах, ассоциирующихся с экспансией, что нашло отражение в названиях глав: «Набеги (1500–1800)», «Крестовые походы (1800–1914)», «Подчинение (1914–1945)». Далее на первый план выходят экологические проблемы: «Загрязнение» (1945–1991)» и «Исчезновение? (1991 – по настоящее время)», поскольку вред, который человек наносил Арктике, – главная тема книги.

МакКеннон показывает роль европейцев, строителей империй, в разрушении экосреды регионов Крайнего Севера. Но даже коренное население, при его низкой плотности, примитивных технологиях и умении адаптироваться к окружающей среде, наносило ей вред.

Автор характеризует экосистемы Арктики как самые малопродуктивные. Разнообразие видов там относительно невелико, пищевые цепочки короткие, что обусловлено климатом: низкие температуры, сухость, сопоставимая с сухостью пустыни Гоби, длинная полярная ночь и, конечно, вечная мерзлота. На планете нет больше мест, где зима и лето были бы настолько противоположны. Под солнечными лучами происходит бурный взрывной рост жизни; зима проверяет экосистемы на прочность, вынуждая к адаптациям разного рода. Климат придает особую остроту борьбе за существование, и миграция здесь – главный механизм выживания.

И ботаники, и зоологи говорят о крайне высокой уязвимости арктической экосистемы, особо подверженной стрессу. Экосистема Арктики более тонко калибрована, чем другие, и ее диапазон толерантности крайне узок, так что любое внешнее воздействие может оказаться фатальным. В то же время нормой является внезапное сокращение популяции почти до грани вымирания, за которым следует быстрое восстановление, что побуждает говорить об эластичности и гибкости арктической жизни [McCannon, 2012, p. 15–25].

Представленная в книге МакКеннона глобальная история арктического региона написана с точки зрения эколога, обеспокоенного состоянием окружающей среды. Для экоисториков, занимающихся Россией, значение имеют более специальные вопросы. В частности, как это сформулировал Энди Бруно, «что мы можем узнать о советской системе, используя оптику экоистории?» В его монографии представлена история освоения относительно небольшого региона – Кольского полуострова, население которого выросло с 10 тыс. человек в начале XX в. до миллиона с лишним к моменту распада СССР. Бруно исследует историю изменений окружающей среды, вызванных экономической деятельностью, которая превратила Колу в один из самых промышленно развитых, но при этом и наиболее загрязненных и милитаризованных регионов Арктики [Bruno, 2016, p. 4].

Автору удалось продемонстрировать, что советский опыт был вписан в общемировые тенденции освоения полярных территорий и при этом основывался как на достижениях дореволюционного времени, так и на новейших технологиях, разработанных за рубежом. Обозначенное в концепции антропоцена «великое ускорение» 1950-х годов с его интенсивным ростом промышленного производства происходило по обе стороны «железного занавеса» [Bruno, 2016, p. 16].

Э. Бруно использует широкий подход к написанию экоистории Колы, обратившись к изучению как восприятия природы и создания проектов по развитию региона, так и к опыту людей, воплощавших эти проекты в жизнь. По словам автора, в его книге множество персонажей: бюрократы-реформаторы, начавшие свою карьеру еще в царской России; ученые, стремящиеся принести пользу государству; молодые коммунисты, выдвинувшиеся в годы сталинского террора; представители региональных и центральных органов власти; спецпоселенцы, строившие промышленные объекты и работавшие на них; коренные жители, занимавшиеся охотой и разведением северного оленя, и многие другие. Не менее значимым действующим лицом является природа, окружающая среда, – в частности, такие ее элементы, как животный мир, горные породы, наконец, суровый климат Заполярья. Особое внимание уделяется культурному восприятию природы и тем идеям, которые определяли планы и формат действий людей, стремившихся ее «осваивать» [Bruno, 2016, p. 6].

По мнению автора, невероятно богатая и разнообразная природа Кольского полуострова сама являлась участником «комму-

нистического проекта». С одной стороны, незамерзающие воды Кольского залива обещали большие перспективы для развития судоходства в регионе, расположенном относительно близко к обжитым территориям Европейской России, а разветвленная сеть гидроресурсов давала широкие возможности для развертывания транспорта и промышленности – в том числе для строительства гидроэлектростанций. С другой – полярная ночь, гористый рельеф, заболоченность, долгая и крайне морозная зима и многое другое делали освоение региона весьма трудным делом [Bruno, 2016, p. 7–8].

Природа, в трактовке Бруно, выступает в данном случае участником истории, субъектом, а не объектом. В отличие от «агентов», наделенных желаниями и волей, «акторы», к которым Бруно относит элементы живой и неживой природы, действуют «неосознанно», однако способны направлять и изменять события [Bruno, 2016, p. 9]. При всех широчайших возможностях советской власти, ей приходилось приспосабливаться к условиям материальной среды. Так, особенности поведения кольского северного оленя, мигрирующего на большие расстояния в течение года, не позволили реализовать программы по превращению кочевого местного населения в оседлое.

Анализ истории строительства Мурманской железной дороги, начатого в годы Первой мировой войны, демонстрирует, что принятые под давлением обстоятельств практики – опора на принудительный труд и «опрометчивость» строительных решений – нашли свое применение в годы первых пятилеток. Два подхода к природе рассматриваются в сюжете об открытии в начале 1920-х годов экспедицией А.Е. Ферсмана огромных запасов апатитов в Хибинах и затем организации промышленной добычи апатито-нефелиновых руд. Проект Ферсмана по комплексному использованию ископаемого сырья был отодвинут в сторону, и в 1930 г. началось спешное строительство первого рудника и обогатительной фабрики, что позволило быстро начать экспорт фосфорных удобрений. Реализация этого проекта первых пятилеток силами спецпереселенцев сопровождалась огромными человеческими потерями и пропагандистской кампанией, включая киносьемки и пеший переход комсомолок из Хибиногорска в Москву. СССР вырвался вперед в деле промышленного освоения Арктики, но в последующие десятилетия использовавшиеся методы добычи апатито-нефелиновых руд привели к серьезному загрязнению окружающей среды.

Рассматривая экологическую трагедию мончегорской тундры в связи с начатой в 1930-е годы разработкой медно-никелевых руд

и выплавкой металлов, Бруно приходит к выводу, что и «Североникель», и «Печенганикель» вплоть до 1970-х годов представляли собой типичные для своего времени предприятия со стандартным уровнем загрязнения окружающей среды. И только обеднение местных руд в совокупности со сдвигами в глобальной экономике стали причиной превращения никелевой промышленности Колы в «вопиющего загрязнителя». В то же время рассмотрение энергетического сектора промышленности Кольского полуострова, драматически изменившего ландшафт региона, позволяет обнаружить возникновение новых и весьма сложных связей с природой, которая «так и не была побеждена». Здесь американский историк усматривает аналогию с общей траекторией истории советской власти в регионе.

Э. Бруно интерпретирует сталинизм как всеобъемлющую экосистему, а не просто человеческую цивилизацию, он рассматривает динамизм и стагнацию в хрущевско-брежневский период и показывает, что экологические проблемы оказывали влияние на поздний авторитаризм [Bruno, 2016, p. 272].

Американская исследовательница родом из Тайваня Пей-И Чу изучила становление научной дисциплины мерзлотоведения, ведущей свое происхождение из дореволюционной России, институционализировавшейся в 1930-е годы и вышедшей на мировую арену в период холодной войны. С одной стороны, книга «Жизнь вечной мерзлоты» – это интеллектуальная история, с повышенным вниманием к терминологии и научному воображению, к разным этапам развития науки. С другой – политический, социальный и, главное, материальный контекст занимает в книге далеко не последнее место. С этой точки зрения исследование генетически связано с новым пониманием материальности, отношений между человеком и материальным миром, а науки – с социальной. Работа Чу, таким образом, отдает дань крайне актуальным на сегодняшний день исследованиям науки и технологий (STS). Современен и взгляд автора, подмечающий в первую очередь изменчивость, «текучесть» явлений: «То, что сегодня мы называем “вечной мерзлотой”, не является ни самоочевидной физико-географической реальностью, ни стабильной научной концепцией» [Chu, 2020, p. 6].

Что собой представляет «вечная мерзлота» (или «мерзлая земля», как ее называет Чу, подчеркивая историческую изменчивость и неочевидность научной терминологии): система (как часть более крупной системы планеты) или дискретная физико-геогра-

фическая структура [Chu, 2020, p. 26]? Поскольку в ходе освоения Восточной Сибири перед инженерами стояла задача строительства зданий, дорог, мостов и пр., ученые были склонны считать вечную мерзлоту структурой, причем, как выяснилось, крайне ненадежной. Летом верхние слои мерзлой почвы таяли, превращаясь в болото, и глубина таяния каждый сезон была непредсказуема, так же как непредсказуемы были прорывы грунтовых вод на поверхность, мгновенно превращавшиеся в километровые наледи, или же возникающие тут и там многометровые вспучивания грунта. Как справиться с «препятствием», должны были решать ученые-мерзловеды.

Глубокая связь науки и практики в сталинском СССР – один из основных тезисов книги. В ходе социалистического строительства наука развивалась под управлением и при поддержке государства, нацеленного на победу над природой в кратчайшие сроки и любыми средствами. Практические задачи определяли и само развитие науки: так, в 1920-е годы, в ходе строительства Забайкальской железной дороги и 1167-километровой магистрали Амур – Якутск возникает научная дисциплина «дорожного почвоведения». Связь науки и практики обосновывалась марксистско-ленинской диалектикой, от которой ученые не должны были отступать под угрозой репрессий.

В книге прослеживается история мерзловедения до начала 1960-х годов и демонстрируется, что даже в сталинском СССР наука не отклонялась от общемировой траектории. Большое внимание уделяется Академии наук и академическим институтам, хитросплетениям научной жизни и политики. По заключению автора, ученым удавалось встраиваться в научную инфраструктуру и разрабатывать теоретические модели, не обязательно жестко привязанные к утилитарным практическим задачам.

История науки может рассматриваться и в другом ключе. Все большее распространение получает «популяризованная» литература, имеющая своей целью расширять кругозор читателей и будить воображение. Такова история зарождения палеонтологии, рассказанная Джоном Маккеем как история находок, коллекционирования и реконструкции мамонта начиная с 1690-х годов, когда из России на европейский рынок стали поступать бивни загадочного животного. Однако необходимые для его описания и осмысления термины «ископаемое», «ледниковый период», «вымирание» рождались постепенно, о чем и повествует богато иллюстрированное издание [McKay, 2017].

Еще одна предназначенная для широкого читателя книга посвящена образу белого медведя в культуре и в массовом сознании [Engelhard, 2017]. Написанная в русле антропозологии, она освещает разные ипостаси белого медведя: почетный гость и «десятиногая угроза» у коренных народов Чукотки и Аляски; ценный товар в домодерную эпоху; объект научного любопытства; трофей в период широкого распространения массовой охоты на рубеже XIX–XX вв.; заметная фигура в индустрии развлечений (сначала в цирках и зоопарках, затем – в кино и мультипликации). Наконец, автор фиксирует возникновение новой роли белого медведя как посланца Севера (*eco ambassador*), символизирующего угрозу вымирания видов и напоминающего человечеству о необходимости оберегать природу.

Первым охоту на белого медведя полностью запретил СССР в 1956 г. (параллельно с обустройством ядерного полигона на Новой Земле, замечает автор). Однако бесконтрольное уничтожение продолжалось, и в 1973 г. пять стран, на территории которых обитает белый медведь (Дания, Канада, Норвегия, СССР и США), подписали соглашение о его сохранении, с одной лишь оговоркой – охота разрешена местному населению, и только с использованием традиционных методов. В РФ эта оговорка начала действовать в 2011 г. для населения Чукотки.

Автор писал свою книгу в надежде, что все эти мифы и образы, рассказы и фильмы об «иконе Арктики» не превратятся для последующих поколений в пустой звук. По его словам, животные, на которых мы охотились, которым поклонялись и кого наблюдали в течение десятков тысяч лет, сделали нас тем, что мы есть, – хотя до сих пор, к сожалению, мало кто воспринимает их равными человеку. Его книга – взгляд в будущее, для которого человечество пытается сохранить белого медведя.

Проблема вымирания видов находится в фокусе внимания экоисториков, в том числе и тех, кто пишет о России. Райан Такер Джонс посвятил этой проблеме свою первую монографию, в которой исследует сюжет об исчезновении стеллеровой морской коровы, описанной в 1741 г. экспедицией Витуса Беринга и к 1768 г. полностью истребленной в результате хищнической охоты [Jones, 2014]. Ответственность за это экологическое преступление автор возложил на Российскую империю, поскольку именно русские промышленники организовали добычу морской коровы у берегов Командорских островов. В то же время как раз российские ученые и естествоиспытатели забили тревогу, они первыми осознали и сформулировали проблему угрозы исчезновения видов. Их идеи

получили распространение в Европе, а российское правительство, озаботившись численностью морских млекопитающих, приняло природоохранные меры, названные автором «одними из самых дальновидных в колониальном мире».

Совсем недавно Джонс издал книгу о советском китобойном промысле, написанную на основе архивных материалов и интервью с бывшими китобоями [Jones, 2022].

Киты и моржи, северные олени и песцы, золото и нефть: через истории этих животных и ресурсов Батшеба Демут показала, как на протяжении более 150 лет люди превращали природные богатства Берингии – арктических земель и вод, простирающихся от России до Канады, – в товар, обеспечивая своим странам экономический рост и укрепляя государственную власть [Demut, 2019]. В своем исследовании Демут опиралась как на материалы архивов РФ и США, так и на многочисленные интервью. Несколько лет она провела на Юконе и научилась выживать в тайге и в тундре.

Ее работа, получившая огромное количество наград, начиная с звания «Лучшая книга года по версии журналов Nature, Kirkus Reviews и Library Journal» и заканчивая премией Американской исторической ассоциации, – первая «тотальная» история Берингии. В то же время это новаторское исследование, в котором рассматриваются социальные и экологические изменения в регионе с середины XIX до конца XX в. в контексте разворачивания двух политических систем, с особым вниманием к пересечению в Арктике интересов России и США. Автор последовательно раскрывает, как «работают» капитализм и социализм, если посмотреть на это с точки зрения экологии.

В основе ее исследования лежит идея о превращении энергии, об энергетическом обмене, который происходит между морем и тундрой, и в этой пищевой цепочке издавна участвовал человек – коренные народы Берингии. Человеческая жизнь и экономика фундаментально связаны с энергетическими циклами, и в Арктике, по мнению автора, имелось изобилие жизни и энергии, которую попытались извлечь европейцы и американцы.

В первой части книги рассматривается пищевая цепочка, центральное место в которой занимает гренландский кит. Повествование Демут, при всей поэтичности, весьма конкретно, поэтому жизненный цикл этих животных она описывает на примере одного кита, родившегося в конце XVIII в. и пойманного через 200 лет у берегов Аляски. Центральными понятиями для автора являются

«жизнь» и «работа», и работа кита заключается в том, что он превращает рассеянную энергию моря – планктон – в свое многотонное тело. Двести лет назад, замечает Демут, киты потребляли примерно половину продукции моря, а плоть кита содержит больше калорий, чем плоть представителей любых других видов в Арктике. Даже годовалый теленок кита мог обеспечить стойбище пищей на полгода, и охота на китов была основой жизнедеятельности юпиков, иннуитов и береговых чукчей. Согласно их верованиям, кит приносит себя в жертву людям, выбирая достойных и не желая умирать для тех, кто этого не заслужил. Поэтому охота, дело опасное и жестокое, может окончиться неудачей, и кит вернется в свою страну (в теле упомянутого кита найдены следы гарпунов). Жизнь коренного населения отнюдь не идиллична – автор описывает жестокие войны между разными племенами, вымирание целых деревень от голода и болезней, но также и строгую сбалансированную социальную систему, нацеленную на одно: доказать китам, что те, кто на них охотится, – хорошие люди.

Когда в Берингию пришли китобои из Новой Англии, они встроились в эту пищевую цепочку и значительно ее удлиннили. Кита они превратили в товар для получения «сконденсированной энергии» в виде ворвани и китового уса. Китовый жир шел на освещение домов, использовался в парфюмерной и текстильной промышленности. Жиры от трех кашалотов было достаточно для обеспечения работы текстильной фабрики в течение года. Добыча китов в холодных водах Берингии росла, рос капитал, и, как считает автор, китобойный промысел, все расширявший свой ареал, сделал Америку империей.

За превращением кита в продукт следовало превращение его в деньги – абстракцию, которая, в свою очередь, питала другие абстракции: коммерцию, национальную экспансию, промышленные инвестиции, а также концепцию истории, в которой прошлое дает дорогу прогрессу. И эти абстракции, пишет Б. Демут, скрывали тот «базовый факт», что каждый доллар начинается со смерти кита.

Труд китобоев несравним с традиционной охотой, но так же тяжел и опасен, и так же, как и коренные народы Арктики, американцы видели в китах нечто большее, нежели добычу. Профессионалы с пониманием отнеслись к тому, что после особенно продуктивного сезона охоты 1850 г. киты поняли, как избегать опасности, и стали уходить подо льды. В итоге сильно упала добыча, но ситуация не стала острой, поскольку в этот период благодаря распространению керосина снизился спрос на китовый жир.

Тем не менее добыча китов продолжалась, их популяция угрожающе сокращалась, но ни американская бюрократия, ни Российская империя, которая с 1880-х годов начала отстаивать свои интересы у берегов Берингии, не предприняли никаких шагов для их защиты. С точки зрения и тех и других, Берингия не нуждалась в китах, она нуждалась в прогрессе. Свою роль в спасении китов сыграл рынок: в 1908 г. резко упал спрос на китовый ус, поскольку была придумана искусственная ему замена «не хуже настоящей». Таков был ответ рынка, этого олицетворения прогресса посредством коммерческого роста: инженерная мысль мгновенно заполняет возникшую брешь. Популяция китов выжила, потому что эти прекрасные животные утратили свою потребительскую ценность.

Для представителей европейской цивилизации отношения с миром дикой природы заключались не только в извлечении из него выгоды. Обе враждовавшие идеологические системы XX в., капитализм и социализм, стремились обуздать энергию природы, сделать ее предсказуемой и управляемой, а Берингию поместить в прокрустово ложе линейного прогресса.

В книге показано, как постепенно в круг понятий колонизаторов помимо задачи извлечения ресурсов входит забота о сохранении популяций – моржей, а затем песцов, которых советская власть начала одомашнивать и разводить на фермах. На примере северного оленя (карибу в Америке) автор раскрывает политику СССР и США, нацеленную на превращение «нецивилизованных» коренных народов в полезных граждан страны. В США из них пытались сделать мелких фермеров, в СССР – работников совхозов, участвующих в социалистическом соревновании. Правительства обеих стран ожидали, что прирученный олень станет гарантией от непредсказуемости природы, когда популяция непредвиденно могла резко вырасти либо сократиться. В центре их внимания находились экономика и человеческий труд – но в данном случае сказал свое веское слово климат.

Ученые-климатологи называют вечную мерзлоту «бомбой замедленного действия» для планеты, а из Арктики поступают апокалиптические рассказы о разрушительных последствиях таяния вечной мерзлоты для выживания человека. Географически вечная мерзлота занимает четверть земной поверхности Северного полушария и более 60% территории России. Ее таяние вносит весомейший вклад в увеличение количества парниковых газов на планете и наносит ущерб и экосреде, и инфраструктуре. Автор книги «Земля, лед, кости, вымирание» Шарлотта Ригли – специалист в области

human geography, она говорит о себе как о первом гуманитарии, посетившем Якутию с целью изучить вечную мерзлоту как материальный объект, который живет своей, очень сложной жизнью и при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не вечным [Wrigley, 2023].

Ш. Ригли провела месяц с американцами-криологами на Северо-Восточной научной станции в Черском, наблюдая за их исследованиями и за изменениями мерзлой земли, а зиму 2018 г. – в Институте мерзотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН в Якутске. Большой интерес вызвал у исследовательницы Плейстоценовый парк – проект, запущенный двумя энтузиастами, экологом Сергеем Зимовым и его сыном. В заказнике, который расположен на северо-востоке Якутии, проводится эксперимент по воссозданию тундровых степей, называемых также «мамонтовыми прериями», – экосистем эпохи плейстоцена, занимавших большие пространства на территории Евразии и исчезнувших 10–12 тыс. лет назад. Считается, что одной из причин деградации этого биома, отличавшегося высокой продуктивностью и во многом напоминавшего африканскую саванну (но только с холодным климатом), явилось вымирание крупной фауны, и прежде всего мамонтов. На огороженную территорию заказника в течение многих лет постепенно завозят травоядных – зубров, бизонов, овцебыков, лосей и пр. По мере увеличения их популяций начнут интродуцировать и крупных хищников, создав «арктическую саванну», в которой многочисленные стада животных уплотняют вечную мерзлоту, предотвращая таким образом ее таяние.

Несмотря на фантастичность этого проекта, он имеет под собой серьезную научную основу, которая сулит лучшие перспективы, чем борьба за сохранение каких-то отдельных видов. Тем не менее конечная цель проекта – остановив глобальное потепление, спасти от вымирания не столько животных, сколько человечество, то есть один конкретный вид. В этом отношении он соприкасается с топовыми в поп-культуре проектами по возвращению к жизни шерстистых мамонтов путем клонирования или гибридизации, поскольку их ДНК частично сохранилась. Шерстистые мамонты вымерли относительно недавно, на острове Врангеля приблизительно в 1675 г. до н.э., когда в Египте закончилась эпоха Среднего царства. По мере таяния мерзлоты все новые останки этих животных выходят на поверхность, предоставляя материал науке (в то время как торговля бивнями стала прибыльным делом в Якутии – чему автор также уделяет внимание).

История вечной мерзлоты, определявшей жизнь в Якутии в течение долгого времени и неумолимо тающей в связи с изменением климата, побуждает автора к размышлениям о том, что означают «утрата и распад», как следует изучать то, что исчезает. В конечном итоге она предлагает пересмотреть нормативную дефиницию «вымирания видов» в антропоцене и распространить ее также на неживую природу. Как пишет автор, вечная мерзлота имеет множество ипостасей, в том числе в чисто практическом смысле: для населения Якутии она служит бытовым холодильником, для ученых представляет собой вместилище древних вирусов и кладбище плейстоценовых костных останков. Вечная мерзлота производит, изменяет и разрушает разные конфигурации жизни и смерти, пересматривает границы выживания и по-новому определяет, что означает вымирание. Иными словами, она дискретна, то есть прерывиста.

На протяжении всей книги автор исследует эту дискретность, которая подразумевает, что исчезновение не означает конец, закодированный в самой жизни, и это не угроза. Жизнь, смерть, выживание – не изолированные события в апокалиптическом нарративе, не точки, расставленные на линии судьбы. Автор предлагает отказаться от линейности понимания мира, заложенной в концепции антропоцена, и включить в него всю множественность живой и неживой природы Земли, где одни виды и субстанции переходят в другие, поддерживая экосистему в состоянии непрерывной изменчивости. Книга Ригли – еще и глубоко гуманистический ответ тем защитникам «хорошего антропоцена», которые исповедуют идею господства (белого) человека, привыкшего к комфорту и гиперпотреблению, и считают, что нет нужды бороться с разрушением окружающей среды, бесконтрольным извлечением ресурсов и колонизацией, поскольку в конце концов нас спасут технологии.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обзоре было использовано несколько десятков англоязычных работ, рассматривающих историю Российской империи и СССР XIX – первой половины XX в. с инвайронменталистских позиций. Большинство из них – монографии, выпущенные в 2011–2023 гг., что свидетельствует о серьезном интересе зарубежных специалистов к экологической проблематике. Вопреки распространенным представлениям, эти исследования посвящены не вопросам охраны природы, а истории ее освоения путем колонизации, развития сельского хозяйства и промышленности, строительства инфраструктуры, связывающей воедино территорию огромной страны.

В центре внимания находятся не столько вред, наносившийся окружающей среде человеком, сколько «завоевание» и «изучение» природы, – стратегии, характерные для всех стран европейского ареала в эпоху модерности, для которых был актуален проект Просвещения и его идеология. Авторы рассмотренных работ ставят историю России в один ряд с историей других стран, в которых в XIX–XX вв. получила распространение идеология модернизма с ее оптимистической верой в научно-технический прогресс, идеей господства человека над природой и утопическими стремлениями к переустройству общества на рациональных началах. Под таким углом зрения зарубежные специалисты реконструируют дискурс о природе, сложившийся в российском обществе к началу XX в., и убедительно доказывают, что агрессивный модернистский дискурс завоевания природы носил до революции маргинальный характер, в то время как представления о необходимости бережного к ней

отношения явно превалировали (и имели серьезное подкрепление в бурно развивавшихся тогда в России естественных науках). В этом «консервационном» дискурсе о русской природе звучали отчетливые нотки романтического национализма, однако для более полного его понимания необходимо обратиться к опыту других стран, и прежде всего стран Центральной и Восточной Европы. Чем бытовавший там в этот период дискурс о природе отличался от российского, имелись ли в нем и насколько влиятельными были взгляды о необходимости огосударствления природных богатств? Присутствовали ли в европейском дискурсе о природе мотивы гордости или же, например, элементы долженствования – повысить плодородие земель с целью «накормить голодных»? Большинство англоязычных исследований, хотя и рассматривают Россию как полноправного участника общеевропейской и мировой истории, анализируют дискурс о природе вне контекста, в большей степени как «русский случай».

В исследованиях экоистории Российской империи, напротив, ничего специфически «русского» мы не находим. Отличия от других империй того времени заключаются лишь в некотором отставании, которое относят главным образом за счет недостаточности средств, в то время как недостатка в типично модернистских «визионерских» проектах в России XIX в. не было. Взрывной рост в области освоения территорий и извлечения ресурсов начался в 1910-е годы, был прерван мировой войной и революцией и продолжился сразу после окончания Гражданской войны. Подчеркивая преемственность между дореволюционным и советским периодом, сохранявшуюся примерно до 1930 г., исследователи фиксируют существенные изменения, которые произошли в годы первых пятилеток, отмеченные возобладанием «революционного» прометеевского дискурса о природе.

Особенно ярко эти процессы высвечиваются историками на примере Средней Азии, где создавалась разветвленная сеть каналов и оросительных систем, строились электростанции и железнодорожные магистрали, развивалось возделывание монокультуры хлопчатника, ориентированной на экспорт (что считается типично колониальной практикой, однако в СССР подавалось как антикапиталистический проект).

Достижения 1920–1930-х годов напрямую связывают с тем, что возможности советской власти были тогда практически неограниченными, в том числе благодаря использованию принудительного труда заключенных ГУЛАГа и спецпереселенцев. Изучающие социалистические стройки первых пятилеток экоисторики «стоят

на плечах» предшественников – социальных историков, достигших больших успехов в исследовании сталинизма. Возможно, отсюда проистекает интерес к его идеологии, которую действительно можно дополнительно высветить, используя оптику экоистории. В каком-то отношении англоязычные экоисторики идут здесь проторенной дорогой, уделяя большое внимание массовой культуре 1930-х годов, неотделимой тогда от пропаганды. В то же время анализ эстетики в оформлении нового советского пространства, достаточно хорошо исследованной историками архитектуры, предлагает новые перспективы, обращая наш взгляд на планировки социалистического города, а также на промышленные и инфраструктурные объекты. Пример канала имени Москвы – сложнейшего гидротехнического сооружения, успешно функционирующего до настоящего времени, – свидетельствует, во-первых, о мастерстве инженеров-проектировщиков, получивших образование до революции, во-вторых – о способности сталинского государства мобилизовать ресурсы, в том числе путем массивированной пропаганды. Инженерная и архитектурная мысль использовалась здесь для изменения ландшафта и превращения его в «советское пространство», которое в наше время стало также и «местом памяти».

Приверженность советского государства грандиозным инфраструктурным проектам хорошо известна, но только в 1960-е годы стали все громче заявлять о себе их экологические последствия, самое заметное из них – катастрофа с Аральским морем. В то же время величественный по замыслу «Сталинский план преобразования природы» 1948–1953 гг., так и не доведенный до своего завершения, принес пусть и скромные, но положительные результаты. Как показано в обзоре, он имел и международное измерение, резонируя со взглядами о пользе лесонасаждений, распространенными тогда и в США, и в Чехословакии, и в других восточноевропейских странах (а также в современном Китае). Возможно, причина в том, что концептуально план был тесно связан с дореволюционной наукой и в каком-то смысле «возвращал к истокам» – присущему ей бережному отношению к природе, – не предполагая разрушительных изменений.

Представленные в обзоре материалы по экоистории Арктики позволяют обнаружить определенные историографические закономерности. Историки-русисты, обратившиеся к инвайронменталистской проблематике, предпочитают оставаться в национальных границах и адресуются к достаточно традиционным историческим проблемам: о характере советской власти, об особенностях разви-

тия науки; природа здесь – лишь один из учитываемых факторов. Экоисторикам, географам, антропологам, работающим в русле активно развивающейся в США и Скандинавии области арктических исследований (Arctic studies), присущ глобальный взгляд и интерес прежде всего к экологическим проблемам, которые носят планетарный характер. Их работы охватывают весь период антропоцена, и российский материал не только служит очередным беспокоящим примером, но и побуждает авторов к глубоким размышлениям, к философствованию о сущности жизни на земле, единой для живой и неживой природы.

Зарубежные инвайронменталистские исследования предлагают новый ракурс, обогащая и в чем-то корректируя историографические стереотипы о ходе русской истории, демонстрируя роль окружающей среды в процессах империостроительства и советской модернизации. Можно не соглашаться со взглядами и интерпретациями авторов, однако их работы обладают лучшим качеством научного исследования: они будят мысль и воображение.

## Список литературы

1. Arend J. Russian science in translation: How *Pochvovedenie* was brought to the West, c. 1875–1945 // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. – 2017. – Vol. 18, N 4. – P. 683–708.
2. Bonhomme Br. Russian exploration, from Siberia to space: A history. – 2012. – VIII, 223 p.
3. Brain S. Song of the forest: Russian forestry and Stalinist environmentalism, 1905–1953. – Pittsburgh : Univ. of Pittsburgh press, 2011. – VIII, 232 p.
4. Breyfogle N. Russia and the race for the Arctic // *Origins: Current events in historical perspective*. – 2012. – Vol. 5, N 11. – URL: <http://origins.osu.edu/article/russia-and-race-arctic/> (дата обращения: 22.11.2023)
5. Breyfogle N.B. Toward an environmental history of imperial Russia and the Soviet Union // *Eurasian environments: nature and ecology in imperial Russian and Soviet history* / Ed. by Nicholas B. Breyfogle. – Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh press, 2018. – P. 3–19.
6. Brown K. Plutopia : nuclear families, atomic cities, and the great Soviet and American plutonium disasters. – Oxford : Oxford univ. press, 2013 – X, 406 p.
7. Bruno A. The nature of Soviet power: An Arctic environmental history. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2016. – XXII, 288 p.
8. Cameron S.I. The hungry steppe : famine, violence, and the making of Soviet Kazakhstan. – Ithaca : Cornell University Press, 2018. – XI, 277 p.
9. Carey M. Beyond weather: The culture and politics of climate history // *The Oxford handbook of environmental history*. – Oxford : Oxford univ. press, 2014. – P. 23–51.
10. Chu, Pey-Yi. The life of permafrost: A history of frozen earth in Russian and Soviet science. – Toronto : University of Toronto press, 2020. – VIII, 288 p.
11. Clark K. Moscow, the fourth Rome: Stalinism, cosmopolitanism, and the evolution of Soviet culture, 1931–1941. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2011. – VIII, 419 p.
12. Conterio J. Controlling land, controlling people: Urban greening and the territorial turn in theories of urban planning in the Soviet Union, 1931–1932 // *Journal of urban history*. – 2022. – Vol. 48, N 3. – P. 479–503.
13. Conterio J. Curative nature: Medical foundations of Soviet nature protection, 1917–1941 // *Slavic Review*. – 2019. – Vol. 78, N 1. – P. 23–49.
14. Costlow J.T. Heart-pine Russia: Walking and writing the nineteenth-century forest. – Ithaca : Cornell univ. press, 2013. – XI, 270 p.
15. Crawford Chr. E. Spatial revolution: Architecture and planning in the early Soviet Union. – Ithaca : Cornell univ. press, 2022. – XX, 385 p.
16. Davis J.P. Russia in the time of cholera. Disease under Romanovs and Soviets. – London ; New York : Bloomsbury academic, 2018. – XVI, 314 p.
17. DeHaan H. Stalinist city planning: Professionals, performance and power. – Toronto : Univ. of Toronto press, 2013. – X., 255 p.

18. Demut B. *Floating coast: An environmental history of the Bering Strait.* – New York : W. W. Norton & Company, 2019. – 416 p.
19. Dills R. *Forest and grassland: Recent trends in Russian environmental history // Global environment.* – 2013. – Vol. 6, N 12. – P. 38–61.
20. Draskoczy J. *Belomor : Criminality and creativity in Stalin's Gulag.* – Boston : Academic Studies Press, 2014. – 250 p.
21. Engelhard M. *Ice bear: The cultural history of an Arctic icon.* – Seattle : Univ. of Washington press, 2017. – XIII, 288 p.
22. Erley M. *On Russian soil: Myth and materiality.* – Ithaca : Northern Illinois univ. press, 2021. – XII, 191 p.
23. *Eurasian environments : nature and ecology in imperial Russian and Soviet history / Ed. by Nicholas B. Breyfogle.* – Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh press, 2018. – XX, 401 p.
24. Gille Zs. *From nature as proxy to nature as actor // Slavic rev.* – 2009. – Vol. 68, N 1. – P. 1–9.
25. Hale-Donnel A. *Corn crusade: Khrushchev's farming revolution in the post-Stalin Soviet Union.* – Oxford : Oxford univ. press, 2019. – XII, 329 p.
26. Hartley J.M. *The Volga: A history of Russia's greatest river.* – New Haven : Yale univ. press, 2021. – XX, 380 p.
27. Hemmersam P. *Making the Arctic city : the history and future of urbanism in the circumpolar North.* – London ; New York : Bloomsbury Publishing, 2021. – XVI, 256 p.
28. *Hydraulic societies : water, power, and control in East and Central Asian history / Ed. by Nicholas B. Breyfogle and Philip C. Brown.* – Corvallis : Oregon State University Press, 2023. – 320 p.
29. *Ice and snow in the Cold War : histories of extreme climatic environments / Ed. by Julia Herzberg, Christian Kehrt, and Franziska Torma.* – New York : Berghahn Books, 2019. – VIII, 322 p.
30. *In the name of the great work : Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its impact in Eastern Europe / Ed. by Doubravka Olšáková.* – New York : Berghahn, 2016. – X, 311 p.
31. Isenberg A.C. *Introduction: A new environmental history // The Oxford handbook of environmental history.* – Oxford : Oxford univ. press, 2014. – P. 1–20.
32. Jones R.T. *Empire of extinction : Russians and the North Pacific's strange beasts of the sea, 1741–1867.* – Oxford ; New York : Oxford univ. press, 2014. – XI, 296 p.
33. Jones R.T. *Red Leviathan : the secret history of Soviet whaling.* – Chicago : University of Chicago press, 2022. – XVII, 269 p.
34. Josephson P.R. *The conquest of the Russian Arctic.* – Cambridge (Mass.) : Harvard univ. press, 2014. – XII, 441 p.
35. Josephson P. *Introduction: The Stalin Plan for the Transformation of Nature, and the East European experience // In the name of the great work : Stalin's Plan for*

- the Transformation of Nature and its impact in Eastern Europe / Ed. by Doubravka Olšáková. – New York : Berghahn, 2016. – P. 1–42.
36. Keating J. On arid ground : Political ecologies of empire in Russian Central Asia. – Oxford ; New York : Oxford univ. press, 2022. – XII, 252 p.
  37. Lynteris Chr. Ethnographic plague: Configuring disease on the Chinese-Russian frontier. – London : Palgrave Macmillan, 2016. – XIX, 199 p.
  38. Lywood G. Strengthening the Tsarist Empire's immune system: environmental cures along Crimea's coast of health // Eurasian environments: nature and ecology in imperial Russian and Soviet history / Ed. by Nicholas B. Breyfogle. – Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh press, 2018. – P. 265–279.
  39. McCannon J. A history of the Arctic: Nature, exploration and exploitation. – London : Reaktion Books, 2012. – 349 p.
  40. McKay J. Discovering the mammoth: A tale of giants, unicorns, ivory, and the birth of a new science. – New York : Pegasus Books, 2017. – XIII, 241 p.
  41. Meanings and values of water in Russian culture / Ed. by Costlow J., Rosenholm A. – London ; New York : Routledge, 2017. – XVI, 267 p.
  42. Moon D. The plough that broke the steppes: Agriculture and environment in Russia's grasslands, 1700–1914. – Oxford : Oxford univ. press, 2013. – XX, 319 p.
  43. Moon D. The American steppes. The unexpected Russian roots of Great Plains agriculture, 1870s–1930s. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2020. – XL, 432 p.
  44. Obertreis J. Imperial desert dreams: Cotton growing and irrigation in Central Asia, 1860–1991. – Göttingen : V&R Unipress, 2017. – 536 p.
  45. Oldfield J., Lajus J., Shaw D.J. B. Conceptualizing and utilizing the natural environment: Critical reflections from imperial and Soviet Russia // Slavonic and East European review. – 2015. – Vol. 93, N 1. – P. 1–15.
  46. Oldfield J.D., Shaw D.J.B. The development of Russian environmental thought: Scientific and geographical perspectives on the natural environment. – London ; New York : Routledge, 2016. – XI, 196 p.
  47. Olšáková D., Štanzel A. Kafkaesque paradigms : the Stalinist plan for the transformation of nature in Czechoslovakia // In the name of the great work : Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its impact in Eastern Europe / Ed. by Olšáková D. – New York : Berghahn, 2016. – P. 43–125.
  48. Peterson M. Pipe dreams: Water and empire in Central Asia's Aral Sea Basin. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2019. – XXII, 400 p.
  49. Peterson M. Steppes to health: How the climate-kumys cure shaped a new steppe imaginary // Slavic rev. – 2022. – Vol. 81, N 1. – P. 8–31.
  50. Pravilova E. A public empire: Property and the quest for the common good in imperial Russia. – Princeton : Princeton univ. press, 2014. – XII, 436 p.
  51. Pravilova E. River of empire: Geopolitics, irrigation, and the Amu Darya in the late XIXth century // Cahiers d'Asie centrale. – 2009. – N 17/18. – P. 255–287.

52. Raab N.A. All shook up : the shifting Soviet response to catastrophes, 1917–1991. – Montreal : McGill-Queen's univ. press, 2017. – XIV, 290 p.
53. Readings in water history / Ed. by Nicholas B. Breyfogle and Mark Sokolsky. – San Diego, CA : Cognella, Inc., 2021. – X, 310 p.
54. Robarts R. Migration and disease in the Black Sea region: Ottoman-Russian relations in the late eighteenth and early nineteenth centuries. – New York : Bloomsbury Academics, 2017. – XII, 268 p.
55. Roe A.D. Into Russian nature: Tourism, environmental protection, and national parks in the twentieth century. – New York : Oxford University Press, 2020. – XIV, 344 p.
56. Ruder C.A. Building Stalinism: The Moscow canal and the creation of Soviet space. – London ; New York : I.B. Tauris, 2018. – XXII, 338 p.
57. Wrigley Ch. Earth, ice, bone, blood: Permafrost and extinction in the Russian Arctic. – Minneapolis ; London : Univ. of Minnesota press, 2023. – 256 p.

**О.В. Большакова**

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
И СОВЕТСКОГО СОЮЗА:  
современные зарубежные исследования**

**Аналитический обзор**

**Оформление обложки С.И. Евстигнеев**

**Верстка А.М. Дюма**

**Корректор Я.А. Кузьменко**

Подписано к печати 29.05.2024

Формат 60×84/16 Бум. офсетная № 1

Печать офсетная Свободная цена

Усл. печ. л. 6,6 Уч.-изд. л. 6,0

Тираж 300 экз. (1–100 экз. – 1-й завод)

Заказ № 230

**Институт научной информации**

**по общественным наукам РАН**

Нахимовский пр-т, д. 51/21,

Москва, 117418

**Отдел печати и распространения изданий**

**Тел.: +7 (925) 517-36-91, +7 (499) 134-03-96**

**e-mail: inion-print@mail.ru**

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН

ООО «Амирит»

410004, Саратовская обл., г. Саратов,

ул. Чернышевского, д. 88, литера У